

27 2515 N-16 2+K

203

СОЮЗ  
СОВЕТСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ  
ИПО



Московская обл. Наука. Библ.  
Отдел Краевой

N-1627K



# Рейд

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
СБОРНИК

ИВГИЗ

он

2

nr. 93

рейд

2

№-1627 К

Издательская Ос. Науч. Бюро

Отдел Казекой

1881

1881

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



СОЮЗ  
СОВЕТСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ

ИПО

р  
е  
й  
д

литературно-  
художественный  
сборник

2

Ивановская обл. Научн. Библи.

Отдел газетной

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИПО  
МОСКВА — ИВАНОВО

1933

а. благов

г. горбунов

в. новожилов

в. полторацкий

д. прокофьев

а. сонин

н. часов

м. шошин

# Содержание

✓ <b>Дм. Прокофьев</b>	Объективная причина	
	<i>Рассказ</i>	5
<b>Мих. Шошин</b>	Последний батрак	
	<i>Повесть</i>	11
<b>В. Полторацкий</b>	Поочье	
	<i>Повесть</i>	57
✓ <b>Ник. Часов</b>	Новичок. Письмо матери	
	<i>Стихотворения</i>	80
<b>Ал. Благов</b>	Передовики	
	<i>Стихотворение</i>	83
<b>Ген. Горбунов</b>	Две бригады	
	<i>Стихотворение</i>	87
<b>Вл. Новожилов</b>	Сквозь буран	
	<i>Рассказ</i>	90
<b>Ал. Сонин</b>	Сила примера	
	<i>Очерк</i>	110
✓ <b>Дм. Прокофьев</b>	Ходовая	
	<i>Очерк</i>	124

---

Редактор *К. Писарев*

Технический редактор *В. П. Федоров*

Обложка художника *В. Н. Говорова*

## Объективная причина

Рассказ

Фабричный гудок отчетливо звучит. Кажется нет нигде предела его хриповатому голосу, перемахнувшему теперь на звонкость. Легкая звонкость чувствуется и под ногами. Схваченные морозцем лужицы блестят на солнце осколками узорчатых стекол и хрустят под сапогами. Озябшее лицо Свирина подтвердело, как будто покрылось тоненьким слоем льда.

Свирин откладывает воротник плаща и прячет в него подбородок, придерживая углы воротника. Но зябнут пальцы, — и он опускает руку в карман. Еще не успел нащупать холодные медяки, как почувствовал, что кто-то его прихватил под-руку. Скошенному глазу помешало что-либо увидеть зеленый угол воротника. Он придавил его тяжелым подбородком. Слева, едва попадая в ногу, шагнул маленький Прохоров. Узкие плечи были приподняты, словно поддерживали большую голову. Просторное бобриковое пальто висело широкими складками. Коротенький нос его был обескровлен. Пухлые веки часто падали, — кажется, их трудно было держать сейчас.

— Идешь на собрание? — услышал Свирин чуть слышный голос Прохорова.

— Надо, — нехотя отозвался Свирин: — под расписку объявляли...

— А без расписки не пошел бы?..

Свирин поправил желтый кулечек подмышкой и промолчал.

— А я тебя хочу вызвать нынче на соревнование! — просто и неожиданно сказал Прохоров, как бы продолжая когда-то начатый разговор: — Ты согласен?

Свирин никак не ожидал такого наскока. Он поглядел в круглое лицо Прохорова, чуть порозовевшее от мороза, и опять сомкнул концы воротника. Одновременно с выходом пара приглушенно сказал:

— Зачем это?..

— Вот здорово! — переходя на шуточный тон, почти кричит Прохоров и баловливо толкает Свирина. От неожиданности тот сильно качнулся, припрыгнув на одной ноге, и выронил сверточек завтрака. Пакет лопнул, в худобу глянул кусок черного хлеба и огурцы. Шутка окончилась неудачно. Прохоров кинулся помогать Свириному. Но тот одной ладонью накрыл пакет, сгреб и стал досадно пихать его в измызганный карман плаща.

Свирин тяжело выругался и прибавил шагу. Прохоров едва по-



спевал за ним. Хотел заговорить, но никак не завязывался разговор. Свирин только отругивался.

У фабкома шумно толпились рабочие, пришедшие на досменное собрание. Председатель цехпрофбюро стоял у входной двери, что-то крепко доказывал. Длинные пальцы рук скользили над головами окружающих его рабочих. Вдруг цехпроф неуклюже качнулся, попятился к стене; дверь отворилась и высунулось бородастое лицо.

— Заходи... Открываем собрание.

В это время Свирин и Прохоров подходили к крыльцу. Рабочие дружно подсыпали к двери, и они невольно разошлись.

Маленький зал теснил собравшихся людей. Нельзя было поднять ногу. Проходили как-то вплавь: сначала пропускали руки, затем плечи, а ноги невидимо, словно резиновые, подбирались за юркнувшим туловищем.

Первое слово взял секретарь цеховой партячейки. Говорил мало. Всем было известно, что девятый комплект самый отсталый на ткацкой фабрике. Выработка последнего месяца равна шестидесяти девяти процентам. Большое количество сработанного товара идет в брак. За такую работенку обещают комплекту рогожное знамя и черную кассу.

— Мы должны доказать, — говорил секретарь, — что девятый комплект умеет по-ударному работать и выполнять нормы. Ссылаться на объективные причины нельзя, — все зависит от нас, товарищи. Шире развертывая ударничество, индивидуальное соревнование, необходимо добиться в этом же месяце выполнения промфинплана... — и когда уже сел, тогда договорил: — и превыполнения!

Трудно было двигать руками, но все-таки похлопали высказанным словам секретаря. Никому не хотелось получить рогожного знамени, итти за получкой в черную кассу, отстать ото всех рабочих фабрики. И, выступая один за другим, рабочие давали обязательства ликвидировать обозначившийся прорыв, работать «на все сто». Заканчивали тем, что вступая в какую-нибудь бригаду, вызывали, кроме того, друг друга на индивидуальное соревнование.

Когда Прохоров добился слова, то объявил:

— Вызываю на соревнование Свирина. Обещаю перевыполнять нормы.

На Свирина посмотрело множество глаз. Чувствуя на себе ожидающие взгляды, он помялся, громыхнул в кармане медяками, ответил:

— Вызов принимаю...

Секретарствующий не успевал протоколировать. А когда рука начала ставить усталые буквы, раздался второй гудок. Он зазывно манил на смену. Толкаясь и обгоняя, рабочие уходили к станкам. Они готовились поддержать слова, записанные в резолюции комплектного собрания: вернуть недоданное фабрике, выполнить нормы «на все сто».

... Прохоров справился со станками, растегнул косоворотку.

Летним загаром открылся треугольник вспотевшей кожи. Голую до локтя руку положил на батан и стал помогать его ритмичным, чуть нервным движениям. Уголками глаз Прохоров наблюдал за Свириным, как тот мешковато, будто с тяжелого просонья, ходил возле станков; и все ждал удобной минуты, чтобы с ним заговорить. Когда случай выдался, он сказал:

— Нам надо вывесить нормировочные таблички на станках и каждый день записывать, как они выполняются. Так удобнее для учета...

Свирин, будто бы нарочно, отошел сначала, а потом сквозь шум станков крикнул:

— Ладно...

Больше ничего не сказал. А то, что буркнул себе под отвороченные мясистые ноздри, перекричали станки. Он начинал понимать, что с ответом на вызов Прохорова немного погорячился. Хотя не мог, да и трудно было подыскать тогда причину отказа от индивидуального соревнования.

«Может быть забудется, — мысленно рассуждал Свирин: — Ну, покричали на собрании, вызвали друг друга, записали это в протокол, но вспомнят ли об этом? Забудется, может быть...»

...С того дня, когда Свирин принял вызов Прохорова, прошло уже много дней. Вначале Прохоров напомнил Свирину еще раз об их договоре, но тот уже откровеннее отмахнулся рукой и ничего не сказал. И все-таки не забыли. Подтвердилась и старая поговорка: что написано пером, то не вырубишь топором. Свирин теперь почувствовал смысл этой поговорки всем существом своим и немного испугался. И сквозь неопределенно ощущаемый испуг пришла большая обида. Свирин еще не знал, кто был этому причиной, но твердо решил одно: здесь больше всех виноват Прохоров. Кроме того досадовал и на самого себя. Ведь если бы тогда, на комплектном собрании, он прямо отказался от вызова Прохорова (этому Свирин теперь находил кое-какие причины), собственно, ничего позорного и не случилось бы. А теперь... Он был уверен, что теперь весь комплект уже знает о том, что его фамилия значится на черной доске.

Свирин совсем не думал о бюро, которое займется выяснением его поступка. «Выговор дадут? — Ладно! Шею не оттянет выговор. А секретарь покричит и отстанет». И он мысленно уже слагал для себя разговор, который затеет секретарь.

«Никакого примера нет, Егор. Беспартийные что скажут, если мы будем срывать выполнение планов? Все еще по-старинке работаешь. Не имеешь в себе дисциплины. Смотри, — последнее тебе предупреждение».

«Ну и чорт с тобой!» — досадно вырвалось у Свирина; он как бы отвечал словам секретаря комсомольской ячейки. — «Я виноват, что у Прохорова лучше станки?» — И сейчас же перебил себя: — «Маху дал, значит, — виноват. Поторопился, хотел что-то показать, а теперь вот виси на черной доске», — упрекнул он себя за неудачу.

Свирин вернулся ко входу, обогнул полукругом идущих рабо-



чих и снова прошел мимо большой фанерной доски, выкрашенной черной эмалью. Неуверенные, словно сбежались второпях, буквы образовали четко фамилию — Свирин. А чуть поодаль, как бы составленная из двух «с», поставленных друг на друга, стояла буква «Е». Никакой ошибки не предвиделось. И потому пришла большая обида. А всех виноватее здесь был Прохоров, бросивший вызов ему индивидуального социалистического соревнования.

То, что было написано на черной доске, уже нельзя одним махом стереть. Плотным потоком, наступая передним на пятки, вдоль коридора идут рабочие на смену. Свирин видит, как все головы, точно по команде, поворачивают направо и читают на квадратной фанерной доске его фамилию. Потому и не вырубить ее топором, что теперь в комплекте все уже знают об этом.

— С черным удовольствием вас! — гогоча закричит Пчела. Он одним уже тем доволен, что выдуманная им эта фраза начинает ходить наравне с разменной монетой. — А Прохоров скосит жидкие глаза, прикрытые пухлыми веками, небрежно скажет:

— Достукался...

Свирин миновал комплект, обогнул отдел фабзайчат и направился в северный корпус фабрики. Потому, что все было давно знакомо, а под ложечкой беспокойным зверьком лежала досада, — взгляд его скользил по длинным рядам станков, живым переплетам ремней совсем напрасно.

Грачев, секретарь комсомольской ячейки, возился над шальным челноком. Обезумев, челнок вгрызся в полотно и наделал мохнатых прогалин. Грачев связывал нити основы, как свое терпение.

— Хреновина получилась вот, — сказал он подошедшему Свирину. Потом вскинул на него раздетые, без ресниц, с широко распахнутыми веками глаза, вспомнил:

— Ты чего шляешься?... Ведь твоя смена работает.

— По делу пришел, — отозвался Свирин, совсем не ожидавший такой встречи: — На черную записали...

— Значит заработал.

— А неправильно это.

— Выработку перепутали?

— Нет, но записали зря.

Грачев отмахнулся.

— Сейчас некогда разговаривать. Надо работать. Зачем бросил станки-то? Не время концы разматывать. Можно и после... У меня самого челнок все полотно, как крот, изрыл. Иди, иди.. Зайдешь после работы в фабком. Потолкуем. Я там буду. Катись...

Но того не случилось, что предполагал Свирин. В комплекте приняли молчанием да косыми взглядами. Кроме ничего не было. Только старый Акимов, приглаживая свои ватные усы, не вытерпел:

— Где пропадал-то? Иди, заяви мастеру. — Потом передумал: Не надо уж, — мы станки-то пустили, работают они.

Не переодеваясь, прямо в клетчатом костюме встал Свирин за станки. И так проработал до гудка, ни с кем не разговаривая, нервничая, скрывая ото всех на Прохорова большую обиду. А когда

простуженный осенним холодом голос гудка оповестил смену. Свириин заторопился в фабком. Он еще не успел оглядеть тесноватую комнату, зашедших с разными просьбами людей, как следом пришел и Грачев. Грачев подсел к председателю фабкома и предложил Свириину:

— Выкладывай, — а сам тем временем наскоро стал объяснять предфабкому причину свиринской жалобы.

Не скоро бы кончил Егор: уж очень монотонисто «выкладывал» он свои соображения. Похаживал вокруг да около, а самое нужное забывал. Чугунов, председатель фабкома, напомнил ему:

— В чем же ты причину-то видишь? Прохоров дает выработку сверх нормы, а ты... — Чугунов хотел назвать цифру его выработки, но вспомнив, что не знает ее, досказал как умел: — а у тебя получается несклепистость какая-то!

... Причину? — Свириин только теперь понял, что раньше он как-то и не подумал хорошенько о причине, за которую он попал на черную доску. На минуту замешкался. Валить сейчас на Прохорова обиду свою — нельзя. Он понимал это. Но другое что?... Ничего другого будто бы и не находил он. Жаловаться же на самого себя — просто глупо. Не стоило бы затевать волынки... Но причину все-таки надо было найти, и Свириин нашел ее.

— Станки у меня никудышные! — И догадался вдруг, что причина эта довольно прочная и веская. — Прохоров-то работает на отремонтированных станках, а я — стыдно сказать — на развальнях каких-то. От этого и недовыработка...

Грачев перевел на книжное слова Егора:

— В общем, объективная причина? — И не сдержался, уронил смешок.

— Да, станки... — настойчиво проговорил Свириин.

— Сам виноват, и нечего рации заводить, — сказал кто-то сзади.

Егор оглянулся на голос. За плечами стоял Прохоров. Терпенье лопнуло его.

— Возьми, сработай на них! — закричал он зло на Прохорова: — Трепаться-то всякий может. А ты вот попробуй...

— Ладно, — неожиданно согласился Прохоров: — Берусь одну десятидневку работать на твоих станках. Потом увидим, кто из нас — трепач, а кто — ударник.

Свириин совсем не хотел этого. И опять подсадовал на себя. Выходило то же, что и с вызовом. Мысленно сказал: — «Погорачился, как тогда, на комплекте». — Вслух произнес другое:

— Давай, поменяемся. — Хотел еще сказать что-то, что поколебало бы решительность Прохорова, но ничего не придумал. Только самоуверенно (это была явно нарочитая самоуверенность) заявил:

— Все равно не сработаешь норму!

Через день Прохоров начал работу на станках Свирина. Весь комплект следил за ним.



— Сработает ли норму?...

Первая смена выдалась неудачная: на двух станках меняли на-вои. Но с вычетом необходимого простоя все же получалось, что в работе свиринских станков наметился уже перелом. Это особенно подтвердилось на третий день. А результаты первой пятидневки были следующие: цифры выработки с восьмьюдесятью семью процентами поднялась до девяносто шести.

Еще не дождавшись окончания десятидневки, намеченного срока менка, Свирин предложил Прохорову:

— Давай, уж перейдем всяк на свои станки. Чего в бирюльки-то играть?

Прохоров отказался. После смены Свирина кликнули в ячейку. Что с ним говорил Грачев, так и не стало известно в комплекте, но было ясно, что его там нагрузили предупреждениями.

Выходя из комнаты ячейки, Свирин подивился своей догадке.

— Как же так? — сочинял он тогда разговор с секретарем ячейки: — Ты комсомолец, а плетешься в хвосте! Беспартийные что скажут, если мы будем срывать выполнение плана? А ты воли-нишь, Свирин. Дисциплину потерял. Смотри, последнее тебе пред-упреждение...

Егор тогда не ошибся. Грачев это и сказал именно. Но только дсбасил:

— Сваливать нечего, Егор, на объективные причины. Ты ви-новат, а не станки. Прохоров доказал тебе...

«Опять этот Прохоров, — злобно подумал Свирин: — Везде им тычат... пример какой».

Свирин работал опять на своих станках. Истекала вторая де-сятидневка. По какой-то капризной причине станки не давали нор-мы выработки ниже девяносто семи процентов.

И опять по широкому коридору центрального корпуса, толка-ясь и обгоняя друг друга, шли рабочие. И так же, как в то памят-ное утро, поворачивали головы направо, но на черной доске уже нельзя было прочесть фамилию Свирина. На этот раз его не подве-ли станки. А может быть он сам стал относиться к ним иначе. И не-было причины сваливать собственную плохую работу на кого-то другого...

Большая прошлая обида таяла навсегда. А столкнувшись в две-рях с Прохоровым, Свирин приветливо сказал:

— Здорово, Семен! — и пожал крепко ему руку.

# Последний батрак

*Повесть*

Лида, выйдя из вагона, заметила гривастую отцовскую лошадь, привязанную к стволу молодой елки. В легких удобных пошевнях для нее приготовлено из сена, покрытого ковром, мягкое, теплое сиденье.

Но около подводы, приехавшей за ней, не было никого. Сантиментально-возбужденное настроение ее как-то осело, она ощутила желание капризничать. Обиженно осмотревшись, она увидела батрака Лутошку, который рассматривал паровоз. Его любопытству можно было позавидовать: он, задрав голову, глазел в будку машиниста, заглядывал под колеса, дотрагивался рукой до тех частей, которые его особенно интересовали.

То ли так нужно было, то ли специально для того, чтобы испугать ротозея, машинист пустил в отводную трубку пар. Лутошка, ополоумев, не сумел даже отскочить и на миг пропал в облаке пара.

Минуты через две белое облачко рассеялось и Лутошка, почувствовав себя неповрежденным, осмелел, осердился и подскочил к будке машиниста, размахивая кулаком:

— Я те вот двину...

Но ему не ответили, — машинисту было не до того: он пускал машину в ход, и Лутошка, увидав, что его кулак грозит уже пассажирам, выглядывающим в окна, убрал руку в варежке за спину.

Лида, хотя и была недовольна, но не удержалась от смеха, повеселела. Но это продолжалось недолго: через пару минут Лутошка окончательно привел ее в раздражение. Он увлеченно смотрел вслед поезду.

— Лу-у-тошка-а! — крикнула Лида в нетерпении.

Он услышал, оглянулся, но не думал торопиться, а напротив шагнул на полотно и пошел наклонив голову, что-то искал, потом наклонился.

После отхода поезда железнодорожный поселок задремал.

Прохожие засматривались на Лиду, на ее новую шубу, боты, шляпу, и она, зная, что недурна собой, хорошо одета, приняла эти взгляды как что-то давно надоевшее и раздраженно уселась в пошевнях, приняв тоскливый вид.

Лутошка возвращался к подводе, разглядывая что-то в руке.

— Платон, — заявила ему Лида: — Ты вырос с жердь, а ведешь себя, точно ребенок... Заставляешь меня мерзнуть, глаза на паровоз...



— Я думал, — ее в рельцу вдавит... а ее только растонило... вишь она теперь чуть не с пятачок, — бормотал Лутошка.

— Чего ее?...

— Копейку.

— Ну, хватит... Садись, да поезжай скорей, — приказала Лида.

— Сейчас прокатим любо-дорого, — проговорил Лутошка, отвязывая лошадь.

Усевшись, Лутошка лихо подбоченился, натянул вожжи, поглядел с боку — удобна ли для коня дорога, и убедившись, что ничто не мешает быстрой езде, гаркнул:

— Н-но-но, м-микроба!..

Сильная рысистая лошадь сразу взяла и понеслась во весь опор. Но быстрая езда была не в интересах Лутошки. Он знал массу сказок, в которых ловкий батрак обдуривает толстую, красивую хозяйскую дочку и за это получает славу, почет и восхищенные своей батрацкой среды.

Лутошка перевел ход лошади на трусцу, а потом позволил итти ей шагом. Он смело решил попытать счастья и, слегка обернувшись к Лиде, спросил:

— Вы, Лида Карповна, ученые теперь, значит, кончили?..

— Да...

— Все курсы прошли?..

— Индустриальный техникум кончила по химическому отделению.

— Теперь, значит, на должности?..

— Да, работаю.

Помолчали. Шумел декабрьский ветер. По белому снежному морю плыли к лесу, как к берегу, елочки, подгоняемые поземкой.

— По атомам науку-то проходили? — спросил Лутошка.

— По каким атомам? — с неохотой спросила Лида, оторвавшись от своих дум.

— Как же... всякая наука без атомов никуда...

Лида пожала плечами и снисходительно удивилась:

— Где это ты набрался такой учености?

— А это так избач в Сопелках преподает.

— Ничего не знает ваш избач... Слышал он звон, а поди и не знает, что к чему.

— Все могот быть, — философски согласился Лутошка.

Разговор прекратился, но Лутошка свою попытку очаровать хозяйскую дочку оставить на этом был несогласен. Он обернулся побольше, взгляделся в сумрачное, задумчивое лицо Лиды и проговорил тягуче, лирически:

— А вот ученый народ, наверно, все себе и думает... и думает... и думает...

— Откуда ты это взял? — вяло спросила Лида.

— А вот, напримерчо, как вы сейчас... с этого и взял. Дума у вас на лице проглядывает.

Лида покраснела и строго ответила:

— Вполне ясно, что образованные много думают.



Заметив ее минутное смущение, Лутошка осознал свое мужество и совсем осмелелся. Он лихо сдвинул шапченку на ухо, повел широким плечом, прищурил левый глаз и заявил возвышенно:

— Я тоже теперь много всякой науки произошел.

Он помолчал, желая узнать, какой эффект эти слова произвели на нее, но Лида ничем на это не ответила.

... — А слов всяких разучил прям-таки девать некуда. Стану теперь говорить с девками, а им все мои слова невдомек, они только глазами хлопают да хохочут. «Синтес», говорю: они не понимают. «Працес» — говорю: им смех. Вы, говорю, не девки, а «минералы». А ну, говорит, тебя охальника, и прочь от меня закачают. А я им кричу — «опеум». Нешто им такие слова понять?..

Лида снисходительно усмехнулась:

— Зачем же ты их так обижаешь?..

— Так то ж, слова не матерные.

— Это верно, но они понимают это как похабщину, раз от тебя уходят.

— Конешное дело, что они так поступают от необразования, — печально подтвердил Лутошка: — Я из-за этого в деревне и синпатии себе не найду... Мне теперь приходится гулять с образованной, — откровенно закинул он удочку.

Лида поняла его, скрыла обидную для батрака улыбку и, чувствуя охоту поиграть с ним, спросила притворно ласково:

— А где же это ты набрался таких слов?

— А я еще по осени на станции крестьянский словарь купил за пятьдесят пять копеек, чтобы всяким мудреным словам знать обозначение.

Она поморщилась и откинулась в угол.

— Сколько тебе лет? — зло спросила она.

— Семнадцать-осьнадцатый..

— Осьнадцатый, — передразнила Лида: — В комсомол, поди, записался?

— Нету...

— Что же?

— У нас в деревне комсомольцев нету, а до села... до Сопелок далеко ходить. Да и хозяин не пускает: я, гыт, тебе покажу комсомол. Ты, говорит, при мне этого слова и не поминай, а то я на тебя епитимию наложу, — папаша-то ваш мне говорит.

Упоминание об епитимии навело ее на мысль спросить, хорошо ли его кормят.

— Ничаво... только посты надоедают. То и дело пост. После поста навалишься, — живот болит. Не буду, говорю, я, Карп Исаич, посты блюсти, потому вред чувствую здоровью. Он грозитя: поговори ты у меня еще, так и свету не взвидишь. Строгий он очень. Так и зарычит. С ним не разговоришься. Ты, говорит, мне еще с колхозом не свяжись, так я тебя в самошеччий дом отвезу.

— А разве в деревне колхоз уже организуется?.. — вздрогнула Лида.

— Нет еще, но которые победнее уже поговаривают. А вон в

Сопелках так организация идет на всех парах. Ну, там село, ичейка. Нешто нашей деревнюхе за ними угнаться. Живет она в лесу, половина людей в ней — «прости-христаради».

Лида только сейчас обратила внимание, что они уже давно едут лесом. За лесом через поле деревня. Еще версты три-четыре. Лошадь шла трусцой.

— А кто это «прости-христаради»? — подозрительно спросила Лида.

— А я всех этих странников зову «прости-христаради». Они на дне эти слова по тыще раз говорят, — с ними встречаются, прощаются, извиняются и начинают всякий разговор. Я всех странниц так и зову: эй, ты, говорю, прости-христаради, подь-ка сюда пошепчемся? И как случаем услышит Карп Исаич мои слова, ну и гаркнет на меня, ты, говорит, к божественным людям не приставай... Не смей чтобы...

— Ну, Платон, довольно болтать, — давай езжай быстрее: я совсем замерзла, — приказала Лида и зябко поежилась, деточкой забившись в угол пошевень, подобрав под себя ноги.

Бойкий Лутошка натянул вожжи:

— Сичас, Лида Карповна, прокатим любо-дорого. Н-но, м-микробба, пошевеливайся!.

Он горячил коня, хлестал. На краю деревни Лутошка сдержал лошадь:

— Хватит, микробба, отдохни!.. Надо остынуть.

От быстрой езды Лида оживилась, повеселела. Ей захотелось смеяться с Лутошкой, дразнить его.

— А зачем ты так несуразно прозвал лошадь?... Она такая большая, красивая и вдруг... микробба...

— Так то ж у меня для ее ругательное слово, потому как она очень плутистая.

— Платон, на самом деле тебе в деревне очень скучно, — насмешливо заговорила Лида, — тебе надо жить в городе, раз теперь ты всякие мудреные слова знаешь.

Лутошка прислушался, подумал и не мог понять, куда она клонит.

— А что ж мне теперь делать-то, Лида Карповна?

— В город надо перебираться.

— Ходов я не знаю. Пропаду в городе-то.

— Не пропадешь. Ты уж совсем взрослый.

— Вот возьмите меня с собой, тогда не пропаду.

— Куда же я тебя возьму?.. Я ведь девушка.

— Так это ж, Лида Карповна, не помеха...

— Взять сейчас не возьму, а после приезжай, — устрою.

— А когда приезжать?..

— После скажу.

В деревне утренняя тишина. Еще не было десяти часов. Кое-где поднимались над избами дымки дотапливающихся печек.

Проехав деревню, Лутошка свернул к небольшой роще, среди которой стоял низкий с покосившейся крышей дом.



Лутошка остановил лошадь у крыльца. Из дома, как из-под земли, доносилось заунывное пенье. Он таинственно подмигнул Лиде и произнес тихо

— «Прости-христаради» молятся...

В его словах она учуяла что-то чуждое настроениям родного дома и вспылила:

— Ну и что ж из этого... Пусть себе молятся. А ты разве не молишься?

— Нет.

— Почему же нет?..

— Леригия это — опеум.

— Ох, ты, батюшки!.. Подумаешь, какой чирий! А знаешь ли еще, что такое опиум?...

— А это по-китайски — вино.

— Вот и дурак. Еще насмеяться вздумал.

— А ты чем ругаться то взяла бы да и поучила меня, — с обидой заявил Лутошка, сразу снизив обращение с ней на ты.

— Некуда тебе ученые-то... Чем меньше знаешь, тем лучше, — ответила она, скрываясь в покоях.

Ее встретила старуха в черном староверском платье, с белым платком на голове, повязанным на кромку. Пахло вымытыми полами и ладаном.

Лида разделась и почувствовала себя легко, возбужденно: ей захотелось обежать весь дом, на все поглядеть, ко многому, дорогому для сердца притронуться. Прежде всего ее привлекло пение и она заглянула в моленную.

Впереди у икон стояли четыре «странника», подстриженные под кружок, в длинных суконных поддевках; за ними около десяти «странниц» в черных платьях, в белых платках на кромку и дальше правильными рядами стояли десятка три мирян или на языке секты — «познамых».

Служба кончалась. Пели последние стихи.

— Кто бы мне поставил прекрасную пустыню,  
Кто бы мне построил не на жительном, тихом месте келью,  
Чтобы мне не слышать человеческого голоса,  
Не видать греховного сего мира,  
Начал бы я горько плакать грехов своих ради.

Отсюда приезжая пошла по всему дому. В зале она встретила сожительницу отца, Магдонию, — пухлую черноокою бабу. Она лежала на диване и рассматривала фривольные картинки в каком-то легкомысленном роскошно изданном иностранном журнале.

Поздоровавшись, Магдония затянула сильным, играющим грудным голосом:

— Чегой-то, девонька, мне все не здоровится. Постояла за службой с полчасика и нету больше моей силы-моченьки, — голова вокруг идет и ноженьки не держат.

— Может понесла? — прямо спросила Лида.

— Да ведь, конечно... женское дело.. при мужине живу.

— А он не знает?

— Да нет, покамест не догадывается, а я молчу, а то ведь сейчас же уйдет в дальнюю сторону.

Лида взяла другой журнал и стала просматривать.

Из моленной доносилось пение уже более живое:

Мира прелести, забавы,  
Прочь идите от меня,  
Все вы — дестные отравы,  
Я бегу вас, как огня.

Вскоре пение стихло и она прислушалась, — сейчас будут расходиться, но тишина дома ничем не нарушалась.

Прошло десять, пятнадцать минут. Надоело сидеть с Магдоной. Лида встала и пошла посмотреть, почему не расходятся. Войдя в моленную, она увидела, что все теперь сидят, а отец, стоя за аналоем, произносит проповедь.

— «Все пророчества святого писания, — слышала она, — по нашим старым книгам сбываются до единого. Все сбылось, что предсказано. Святое писание нам говорит: будут птицы железные летать, — летают еропланы; сказано, что будет едино стадо и один пастырь, — завелись колхозы; сказано, что будет печать зверя, — есть книжки кооперации и карточки; наступили времена антихриста. Чурайтесь большевиков — исчадий ада; не идите в колхозы, — не записывайтесь к антихристу...»

Дом Карпа Исаича с давних пор являлся одной из главных штаб-квартир секты странников-бегунов.

Статуты секты, не признающей никаких правил общежития, не признающей законов, требующей «сокрытия», привлекали в секту всех, кто бежит от всего нового, советского, кто находится в контрах с советской общественностью, и даже тех, у кого есть основания скрываться от пролетарского правосудия.

В годы гражданской войны в секте находили верное убежище даже дезертиры. Все ученье секты во всех основах своих очень удобно для контрреволюционной деятельности. Мистика, отказ от мирской жизни, от участия в строительстве, уход из общежития, требование странствования при условиях самой строгой конспирации являются прекрасным прикрытием для классовых врагов революции.

Конспирация, скрытность (прожитие, рождение, брак, смерть не регистрируются), перемена имен после вступления в секту и крещения, отказ от общения с непосвященными делают борьбу с этой сектой чрезвычайно затрудненной и временами мало доступной.

Секта эта очень распространена и имеет неплохую материальную базу; финансируется кулаками и всякими «бывшими», имеет даже связь с границей. Финансовая поддержка дается, конечно, не даром, — кулачество и все классовые враги ведут через секту контрреволюционную работу.

Секта состоит из людей трех сортов. Основную массу составляют сами странники, скрывающиеся от мирской жизни. Они отказываются от всякого общения с «греховным» миром, отказываются от своей доли имущества, если это только члены семьи, а главы



семьи все распродают и вносят деньги в кассу секты. Дальше идут так называемые благодетели. Это в подавляющем своем большинстве — кулачество глухих лесных деревень и бывшие люди, осевшие на отдаленных окраинах городов. Они содержат кельи, где останавливаются «странники», а часть их живет в келье по году, по два и во всю эксплоатируются «благодетелем». По малейшему поводу весь состав кельи перебрасывается в разные «страны», т. е. в другие районы и области, а им на смену присылаются другие.

Вступающих в секту крестят в реке или в бочке и дают другое имя. Прежнее имя, отчество и фамилия не подлежат никакому упоминанию. В секте уже именуют их так: раб божий Митрофан, раба божья Марфа и т. д.

Дома у таких благодетелей всегда почти такие же, как у Карпа Исаича: низенькие, чтобы не бросались в глаза, замаскированные; то древесными посадками, то поленницами дров, то заборчиками; дома — с прирубями, боковушками, горенками тесными, искусно и экономно устроенными: ведь в таком доме в будни бывает до тридцати человек, а в большие праздники умещается и до сотни.

Третью часть секты составляют «познаемые». Это — зажиточная верхушка деревни. У них нет келий и боковуш для этих странников, но они носят к благодетелям в келью «милостину»; жертвуют всякую снедь, деньги, предоставляют ночлег проходящим странникам, в нужное время укрывают их на недолгое время в голбцах и на чердаках и ходят на моленья.

Бедняки встречаются среди них как исключенье, потому что секта не обрабатывает тех, у кого нечего взять. Если и удастся кого-нибудь заудить, так его вербуют прямо в «странники» и он фактически попадает в батраки к какому-нибудь «благодетелю».

Из таких же бедняков, завербованных в секту, был отец Лутошки.

Он вступил в секту шесть лет назад. Сына он отдал в батраки к Карпу Исаичу, а сам с женой ушел в секту. На второй год он умер, а жена, мать Лутошки, не выжила и ушла в «мир», сойдясь во время странничества на волжском пароходе с поваром.

«Познаемые» обыкновенно вступают в секту за несколько дней перед смертью. Их, больных или полумертвых, крестят, нарекают им другое имя и по смерти погребают как настоящего странника отпеванием стихами о загробной жизни, о часе расставания души от тела и т. д. Трупы их хранятся в тайных местах: в ямах, в лесу, в кустарниках, подвалах.

Карп Исаич как раз являлся одним из самых опытных и крепких «благодетелей». Его дом был одной из твердынь секты. Этому способствовали и условия: глухая лесная сторона, зажиточность деревни и наличие большого числа «познаемых» в деревне, замаскированность домика-каракатицы от чужого взора или должностного проезжего человека.

Карп Исаич преклонялся перед образованностью дочери, почитал ее как умницу, был высокого мнения о ее красоте и очень обрадовался ее приезду. Он угостил ее чисто по-барски, чувство-



вал себя превосходно, и дочери стало жалко его; не хотелось говорить ему то неприятное, что она приехала сказать. Выпив несколько рюмок малаги, дочь покраснелась и попросила разрешения закурить. Увидав в ее руках обыкновенные папиросы, Карп Исаич поморщился, дошел до буфета и, улыбаясь, положил перед дочерью пачку сигарет.

Лида восхищенно воскликнула:

— Вот это да!.. Я понимаю... Связи и ловкость.

В это время в комнату заглянул Лутошка. Лида встала и плотно прикрыла дверь.

Лутошке хотелось без конца глядеть на хозяйскую дочку и он мечтал:

— Кабы с ней пройтись по улице, — знай наших...

И в то же время давал себе отчет, что это — совершенно избыточное дело, но все-таки мысль о ней не давала ему покоя.

— Личико-то у нее — краса-а. В шляпке. Пальтечко на ней, как щикалад. А на ногах — калоши высокие, белые. Когда идет, так они будто дышут: о-хо-о-хо, а из них нога в шелковом чулке выходит.

Так бы с ней и прошелся хоть один разочек и все бы ей говорил такие хитрые, волнующие своей непонятностью слова, которых целое сонмище в его словаре.

В середине дня он видел ее, проходя коридорчиком с ведром помоев. Она, не обращая внимания на него, поднималась в лесенку, покачиваясь и напевая:

— Париж, ах это ты...

С этого момента она ему еще больше понравилась. Как женщина она во всем соответствовала его вкусам: мясистая, с полным бюстом, с глазами большими и лукавыми. Лутошка знал, что таков идеал женской красоты в глазах деревенских парней и сам всецело разделял этот взгляд. Он ждал, что она скоро выйдет на улицу и тогда ему опять представится возможность «прихлестнуть» за ней, но гостья, уйдя в комнату отца, не выходила оттуда. Лутошка заскучал, с горя вытащил из-под полы пиджака словарь и ушел читать его в курятник, где он занимался чтением, так как Карп Исаич позволял ему читать только божественные книги.

Дочь сначала рассказала отцу о двух инженерах, имеющих связь с их сектой, и некоторых городских «познамых», близких знакомых Карпа Исаича.

После этого путаного, но неторопливого предисловия она передала общий совет городских знакомых немедленно ликвидировать в деревне хозяйство и уехать в город: иначе все равно его через два или три месяца раскулачат, отберут решительно все и вышлют, так как идет по республике волна создания колхозов и ликвидации кулачества.

Карп Исаич презрительно усмехнулся и оборотной стороной пятерни взъерошил кверху свою ладную, черную с проседью бороду. Этот привычный жест был присущ ему в те моменты, когда он наливался силой, собирался противостоять, чувствовал себя способным на победу. Его карие угрюмые глаза загорелись хитрым уда-

лым блеском и он этим взглядом обвел любимицу-дочь, лицо которой горело решимостью и необычным волнением.

Прежде чем ответить, он расправил широкие плечи и приподнял их. По всему этому она определила, что отец, избалованный властью среди сектантов и крестьян, отец, привыкший все делать по своему и в некоторых местах лезть напролом, ответит отказом. Она даже отвернулась, ненавидя в этот момент его волю и властолюбивую напыщенность.

— Я сам это знаю, — сказал отец: — Я знаю, что таких, как я, трогают колхозы. Но у нас в деревне колхоза не будет. Я не дозволю, чтобы у нас в деревне был колхоз.

— Это совершенно неважно, согласишься ты или не согласишься — быть в деревне колхозу. Тебя и без колхоза раскулачат. Это обязательно, — с пылкой грубостью возразила дочь.

Карп Исаич стал как будто меньше.

— Ну это ты, Лидуша, придумываешь...

— Я тебе, отец, говорю... Ты верь мне. Там в городе пронюхали об этом... Это уж верно.

Карп Исаич ребром ладони ударил по столу и отрезал:

— Не отдам я этого места ни за какие... Я сам организую колхоз из своих. Попробуй тогда, тронь мой колхоз. Как настоящий будет. Самолучший мой колхоз будет. Как нестроевая команда, — раз-раз и сделано.

— И об этом уж мы говорили. Гиблое это дело, — грустно ответила Лида.

— Почему же оно гиблое?.. Это сделать нетрудно и выйдет так, что не подкопаются.

— Вот именно, что подкопаются, — яростно возразила дочь: — Ну, предположим, продержишься ты со своим колхозом три месяца, полгода, ну скажем, год, — и все равно тебя разоблачат и ликвидируют. Ты уж слушай нас: мы — ученый народ, подальше твоего видим. Ведь беднота, которая ненавидит секту, она сразу же докажет на тебя и откроет против тебя такую ли борьбу... Колхозы не только что появляются. В некоторых местах они уже давно существуют. В книжках, в журналах о них пишут. Мы следим за этим, читаем. Вот и про такие случаи, как ты говоришь, что колхоз свой организуют, тоже писали. Как только появился такой колхоз, беднота борется против них, разоблачает ну и... ликвидируют.

Карп Исаич долго смотрел в глаза дочери и, наконец, упавшим голосом проговорил:

— Так по твоему никак мне здесь не усидеть?..

— Никак ты здесь не усидишь...

— Так что же мне делать?..

— Я уже говорила: все лишнее продай и переезжай немедленно в город. Там поставишь на самой окраине домик и будешь жить. Участок под дом тебе Игорь Всеволодович устроит...

— И значит только так чаша сия минет меня?..

— Если сделаешь так, то минет тебя, только потому, что ты имеешь через меня связь с образованным миром, который умеет



пронюхать политику, а остальные, подобные тебе, будут ликвидированы как класс.

Карп Исаич, взяв прядь бороды в рот, тискал ее губами.

Вечером он кликнул Лутошку.

— Приготовь лошадь, — Лидию Карповну к поезду свезешь.

Приказание это разбитной Лутошка молниеносно исполнил и подкатил к крыльцу. На прощание с отцом Лида опять выпила несколько рюмок и теперь ехала с разухабистым настроением, заигрывая с Лутошкой:

— Лутонька, так ты приезжай!..

— Карп Исаич меня не выпустит.

— Выпустит, — я уже ему говорила.

— Когда, Лида Карповна, приезжать-то?

— А я напишу... Он тебе скажет, когда надо будет ехать. Лутонька, а знаешь что?..

— Что, Лида Карповна?..

— Прокати ты меня так, чтобы дух захватило.

— Н-но, микроба-а! — гавкнул Лутошка так, что лошадь вздрогнула и пустилась скорой рысью. Лутошка порскнул ее кнутом, она сделала сбой, но Лутошка заставил ее возжами бежать правильно на рысях. Забившись в угол саней, Лида хохотала от удовольствия и кричала:

---

— Ах, хорошо... Лутошка... Дурачок...

Карп Исаич не совсем поверил дочери: у девок ум взбалмошный; девка может преувеличить и натрепать, бог знает что, набравшись обыкновенных слухов. Да и не хотелось бросать этого хорошо приспособленного к его жизни чудесного лесного уголка, который находился, по определению Карпа Исаича, «у стороны, а в людях». Уж очень вольготно ему было тут шириться со своей сектой. Он сам поехал в город, переговорил с надежными людьми, все узнал и только после этого решил переправляться. **Объявив** всем своим «познанным», «странникам»,<sup>1</sup> что господь повелел ему переехать в город, Карп Исаич заставил их как можно скорее перевести его, и онидвумя обозами в неделю перетасили все самое главное в город, а остальное он распродал сектантам. Через месяц он уже жил на окраине города в своем доме. Инженер Игорь Всеволодович Левенда, старый холостяк, сын фабриканта, раньше субсидировавший секту странников, восхищенно похлопал по плечу Карпа Исаича:

— Вот это темпы... Я преклоняюсь.

Карп Исаич довольно усмехнулся и в тон ему похвастался:

— Я даже все деревья, которые росли вокруг моего дома, велел срубить и испилить. Сейчас уже эти дрова на базаре продают по шестьдесят рубликов возок. Весной велю пеня выкорчевать... хи-хи-хи... и овса велю тут посеять хи-хи-хи...

— Вот это ловко, ха-ха, — смеялся вместе с ним Левенда: — Ты очень мне нравишься. Превосходный старик. И за это я тебя решил устроить. Замечательное тебе, старик, место нашел.

— На железнодорожной ветке, которая проведена до нашей фабрики от вокзала, грузчиков у нас совершенно нет. Фабрики перешла на трехсменку, и все разнорабочие бросились в корпуса, — квалифицируются на машинах. Привези себе артельку из хороших знакомых мужиков и монополю действующую на выгрузке. Будешь тут, как говорится, князь во князьях.

— Это я, Игорь Всеволодович, могу оборудовать в лучшем виде. Артельку такую аккуратную подберу из «познамых». Артелька будет что твой боевой взвод. Только крикну: слушай мою команду! и вся артелька замрет: ни единого слова.

Левенда заметил в его словах некоторую особенность и спросил его:

— Ты в солдатах служил?..

— Как же царю-батюшке шесть лет служил в уланах. Два года — на сверхсрочной. На германскую войну ходил.

Инженер ответил:

— По ловкости твоей и по разговору можно заметить, что ты из военных.

Карп Исаич заметил, что Левенда видимо давно уже волочится за дочкой. Он теперь часто приходил в их дом и приносил с собой маленький дорожный патефон, купленный по случаю, и чемодан пластинок.

Левенда уверял, что вещь эта — импортная, называл ее «кусочком заграницы» и клялся, что покончит с собой, если она пропадет. У него имелась масса пластинок с фокстротами.

Пили чай, выпивали маленькими рюмочками «сладенькое», при чем Левенда не забывал упомянуть, что это вместо сладостей. После чаю Карп Исаич просил дочь:

— Ну-ка спой про древнее. Очень мне эта песня по душе пришлась.

И Лида пела под гитару:

Горько плачет Ярославна  
Одна на городской стене...

Левенда заводил патефон и приглашал Лиду на фокстрот. Танцевали они подолгу. Левенда менял пластинку и опять спешил к ней. Карп Исаич, насмотревшись на их чувственную пляску, говорил:

— Ишь ты, какие нынче танцы пошли.

— Что? Не нравятся? — откликнулся тяжело дышавший Левенда.

— Наоборот, — очень хорошие.

После фокстрота Лида всегда была в раздражении и глаза у нее делались злыми.

Левенда подавал ей папиросу и ждал ее задиристых слов. Жадно захватившись, Лида говорила:

— Левенда, у вас вероятно когда-то было красивое лицо. Глаза еще и сейчас упительные. Ню-о... у вас такой опустившийся вид. Вы, вероятно, вели очень развратную жизнь...



— Может быть, — довольно ухмылялся Левенда.

— У вас такая звучная, красивая фамилия... Нно... Сколько вам лет?

— Я не женщина и не скрываю свои года. Я могу вам сказать точно. Тридцать девятый.

Лида сокрушенно качала головой:

— Совсем старик.

— Ничего подобного, — кричал Левенда: — Я еще мущина первой гильдии.

— Нет, вы уже выпаханный и брошенный пустырь.

От этих слов Левенда смутился:

— Но вы, Лида Карповна, ничем не рискуете. Я не предлагал вам еще супружества. И без этого мущина и женщина могут доставить друг другу много удовольствия.

— Оставьте их себе.

Левенда хохотал и говорил:

— Успокойтесь, Лидочка, это у вас от возбуждения...

Однажды, выслушивая подобную пикировку между Левендой и Лидой, Карп Исаич обратился к дочери с такими словами:

— Зачем ты, Лидуша, с ним так нехорошо обращаешься? Он к тебе с любовью, а ты его отпугиваешь. Человек он не маленький, инженер, заведующий ткацкой фабрикой. Получает много. Квартера — в трех комнатах, с теткой старухой один живет. Ты прикрой себя его именем, да и крути, сколько тебе требуется.

— Не буду же я, отец, сама наваливаться ему в жены; а он только...

— Так вот и не надо его отпугивать, а мы дадим ему понять, что мы к нему расположены. Прямо тебе, дочка, сказать: неразумно ты поступаешь...

На тех же днях Карп Исаич съездил в деревню и привез грузчиков. Недостаток рабочей силы на фабрике был громадный, и артель Карпа Исаича в день же приезда поставили на работу.

Теперь у Карпа Исаича был и дом, и хороший заработок, и он почувствовал себя здесь почти так же спокойно и удобно, как и в деревне.

Опять появились у него в доме странники и странницы, в дни отдыха происходили моления. Пели свои бегунские, заунывные стихи. Карп Исаич произносил проповеди. На буднях происходила постепенная, незаметная, неторопливая обработка отсталой, наиболее обывательской массы, в особенности женщин. В дни отдыха их притаскивали на моления. К этим слушателям был нужен другой подход, нежели к деревенским; в отношениях с ними Карп Исаич пока еще был малоопытен, но кое-что уже смекнул и по другому, не по-деревенски поучал новообращенных.

— Самое главное, многолюбимые наши братья и сестры, то надо принять в разуменье, — изрекал Карп Исаич, — что Христос был пролетарского происхождения, сын мелкого ремесленника, сын одиночки кустаря — плотника Иосифа. Мать его была простая



трудолюбивая женщина; по своему социальному происхождению она близко подходит к рабочему и крестьянину. Христос же был великий социалист-коммунист.

---

Лутошка после переезда хозяина пилил вместе со «странниками» оставшиеся после сноса дома гнилье и рожицу, окружавшую дом, и потом был увезен Кяэпом Исаичем в город. Он работал теперь в артели, жил у хозяйна, в свободное время колот дрова, таскал воду, бегал в магазины и выполнял разнообразную работу кухонного мужика.

Но все-таки здесь он чувствовал себя вольнее, нежели в деревне, как-то незаметно перейдя из-под недреманного ока Карпа Исаича на попечение Лиды, которая давала ему читать небожественные книжки. Это были буржуазные романы, в которых Лутошка ничего не понимал, и любовные стихи. Стихи его больше трогали, но тоже редкие строчки доходили до души. Лида даже один раз, из-за какой-то прихоти, а может быть от страшной скуки, ходила с ним в кино, и Лутошка с трудом сдерживал свою радость. С этого вечера он окончательно влюбился в хозяйскую дочку и позерил своей выдумке, что и она к нему таит любовь. Самое тяжелое время в его теперешней жизни были вечера, когда приходил Левенда с двумя-тремя самыми близкими своими приятелями.

Карп Исаич, взявшийся за осуществление своей мысли устроить брак своей дочки с инженером Левендой, приложил к этому весь свой ум и такт, но ход этот ему не удавался. Левенда понял Карпа Исаича, но видимо или не хотел расставаться с волей старого холостяка, или же чувствовал за собой на самом деле физическую непрочность и стал приходить в гостеприимное для него семейство с маленькой кампанией приятелей. Они все наперебой ухаживали за Лидой, и Лутошка в эти вечера сгорал от ревности. Он был тут никому не нужен; никто его не замечал, о нем даже и Лида и Карп Исаич забывали на весь вечер. Он бродил около комнаты, где происходило веселье, или таился в коридорчике, прислушивался, злобствовал. Однажды гости, только что усевшись в комнате, продолжали начатый на дороге разговор:

— А я вам говорю, что экстракт Сорвачева дает прекрасный результат. Он заменяет два красителя, которые мы ввозили из-за границы. За них платят золотом — восемьдесят рублей за килограмм, — ожесточенно говорил Левенда.

— Вы просто, Игорь Всеволодович, под старость стали экзальтированным, как женщина. Кто-то вам сказал, — вы поверили. Неужели я допущу мысль, что какой-то рабочий без знания химии, без образования, мог открыть что-нибудь подобное, — брюзжал один из его приятелей.

— Ваш густой скептицизм, Максим Львович, тут не к месту. Как уж это может произойти, мы не знаем, не интересовались никогда этим, но только вот именно так и произошло: рабочий сделал такой экстракт, — возражал Левенда.

— А испытание было?

— Предстоит.

— Вот видите. А вы уже взялись утверждать...

— Испытание покажет, стоит ли этим делом заниматься...

Другой приятель засмеялся над тугоумностью скептика и проговорил:

— Тогда, Максим Львович, поздно будет... Люди, которые по-дальновиднее нас, уже знают, что игра не стоит свеч. Они, слышь, хотят освобождаться от заграницы. Они, видите ли, борются за экономическую независимость. Мы им покажем экономическую независимость. Мы им освободимся...

Из-за стены дошло до их слуха упоенное бормотание.

Это в соседней комнате любознательный Лутошка заучивал вслух стихотворение из книжки стихов Блока, которую дала ему почитать Лида.

Он бубнил единственно понравившееся ему стихотворение, — оно подходило к его настроению:

... На улице дождик и слякоть;  
Не знаешь, о чем горевать,  
И скучно, и хочется плакать,  
И некуда силы девать.  
Глухая тоска без кручины  
И дум неотвязный угар,  
Давай-ка, наколем лучины,  
Раздуем себе самовар..

— Кто это там завывает? — спросил Левенда.

— Да это у нас квартирантишка, — ответила Лида: — Читает что-нибудь.

— А я думал тут никого нет, — забеспокоился Левенда: — Там посторонний человек, а тут мы завели такой разговор, — хорошо, что мы еще ничего лишнего не сказали.

Лида почувствовала себя даже виноватой.

— Но ведь это мальчишка... Он ни «бе», ни «ме» ни в чем не понимает.

— Но все-таки... все-таки думается... все-таки надо предупредить, Лидия Карповна...

Лида капризно надулась и вышла из комнаты. За стеной бормотанье стихло, послышался ее капризный говорок, после чего виновник этой тревоги простучал по полу своими тяжелыми сапогами. Все стихло. Лида вернулась к гостям.

Левенда, оправившись от испуга, теперь чувствовал себя неловко:

— Вы извините меня, что я вас так затруднил. Но вы сами понимаете, что предосторожность никогда не мешает.

— Успокойтесь, этот дурачок в ваших разговорах ничего не смыслит, — сухо сказала Лида.

— Оставим эти разговоры, — сказал приятель Левенды, — и займемся чем-нибудь более приятным.

Лутошка, изгнанный на кухню, с тем же рвением продолжал заучивать стихотворение.



В окна бил дождь с крупой и оттого стихотворение ему все больше и больше нравилось.

Закрыв глаза и прислушиваясь к звяку дождя и крупы о стекло, он без конца тянул:

На улице дождик и слякоть;  
Не знаешь, о чем горевать.  
И скучно, и хочется плакать...

В груди металось мучительно-сладкое теснение, а в глазах на-зревала слеза.

Перечувствовав стихотворение и выучив его на зубок, Лутошка заскучал и решил итти посмотреть на Лиду. Он тихо пробрался в коридорчик к комнате, где происходило веселье, и притаился там, в углу, за шкафом.

Рядом за стеной играл патефон и кто-то вполголоса напевал тривуазную песенку. Как длинные черные нитки, тянулись минуты. Прошел мимо Карп Исаич и скрылся в своей горенке. И опять медленно тянулись минуты. С другого оконца коридора, раздвигая своим серым блеском темноту, на Лутошку двигалось огромное, выпуклое, со злобным взглядом и нахмуренным лбом лицо Карпа Исаича.

У Лутошки затряслись поджилки и ему захотелось кричать, но прежде чем это сделать, он замигал часто-часто, лицо Карпа Исаича пропало. Лутошка овладел собой и успокоил себя:

— Это мне померестилось.

В этот момент из комнаты вышла Лида и приостановилась. Лутошка вздрогнул от нахлынувшего любопытства. Вскоре за ней вышел Левенда и приблизился к ней так, что они слились в одно еле заметное пятно.

— Целоваться он ее вывел, — догадался Лутошка и ток ревности, пронизавший все его тело, казалось сварил все его внутренности.

— Пойду и двину ему в морду, как только они начнут целоваться, — мелькнуло в голове.

Они отошли в глубь коридора.

— Вот сейчас начнут... Подкрадусь и двину ему изо всей силы, — говорил себе потерявший от ревности всякую способность рассуждать Лутошка:

— Подкрадусь и двину в морду.

Но поцелуев не последовало. Вместо этого послышался приглушенный внятный голос Левенды.

— Видите ли, Лидия Карповна, изобретение Сорвачева очень волнует заграничную фирму. Они убеждены, что испытание экстракта даст положительные результаты. И вот мы получили задание, во что бы то ни стало, похоронить эту попытку освободиться от заграничной зависимости по части ввоза кварцетрона и гематина. И вот... Вы работаете в химической лаборатории. И вот... Вы получите хороший гонорар, если подsunите в этот состав хотя бы каустика или чего-нибудь подобного. Я еще раз повторяю: ха-аро-ший гонорар...

Лутошка сразу остыл и ощутил отлив ревности. Они толкуют о чем-то своем фабричном, совершенно непонятном.

— Положительный результат, экстракт, квирцетрон, гематин, лаборатория, гонорар — эти слова были непонятны, к тому же, кто такой Сорвачев, он не знал и у него даже не появилось никакой догадки о содержании их разговора.

— По ученым делам шепчутся, — сказал он себе: — На образованном языке говорят.

— Ничего обязательного я обещать не могу, но... посмотрю и, если это будет неособенно трудно, то сделаю... сделаю, — шептала Лида.

— Постарайтесь, Лидия Карповна, — молил Левенда: — Вы очень хорошо заработаете.

И они ушли в комнату.

После перенесенных здесь в тайничке переживаний Лутошка почувствовал усталость и пошел спать. Он без единого звука миновал коридор и там дальше, свободно направляясь к своей койке, решил перед сном почитать словарь, чтобы узнать значение только что услышанных слов, но они разбегались из головы, точно скрывались от его неумолимого словаря...

---

...В артели только и молодежи было, что один Лутошка, а остальные все были пожилые и даже старые. Карп Исаич подобрал артель исключительно из зажиточных и подкулачников

Работали они плохо, нерадиво, и только все глядели где бы чего урвать, украсть: железину, болт, мешок, брезент. В свободное время они стояли в очередях и закупали все, что только можно было купить. Карп Исаич правил артелью через Стельного и Якима Коноплянкина. Стельный вел в артели записи, принимал, передавал и подписывал фактуры, сообщал артели, где и что можно купить, продать.

Мужик крупного телосложения, пузатый, за что и был прозван Стельным, малоречивый и хитрый, он был зажиточен и состоял у Карпа Исаича непременным советником во всех делах. Сам же Карп Исаич, точно какой-нибудь премьер-министр, давал артели только главное направление, вел себя гордо, внушительно и говорил только то, что должно было пронизать всю артель, что должно было быть приказом для каждого человека в артели. Всю мелкую работу в артели, где нужно было много говорить, кричать, разбирать ссоры, выполнял Коноплянкин.

Небольшого ростика, сухой, подвижной, красноватый, он был везде и всюду каждую минуту, — круглые сутки артель была у него на глазу. Выражение и мимику его худого, белобрысого, продолговатого, с реденькой длинной бородкой, резко выраженной клинышком, с маленькими и серовато-белыми глазами, каждый грузчик знал, как свое имя. Его длинная голова с продолговатым лицом и еще в дополнение ко всему в маленьком картузике была



похожа на долото, и Лутошка, внутренне ненавидя Коноплянкина, сочинил про него скороговорку:

Ах, ты, рожа-долото,  
Ты толкуешь не про то.

Он, словно муха, реял и жужжал над артелью. Говорил Коноплянкин тихо, внятно, певуче.

Но несмотря на свою красноречивость и дипломатические способности, для связи с организациями и с отдельными ответственными партиями Коноплянкин не допускался, так как был черезчур елеен и медоточив. На эти случаи имелся подкулачник Хнычка, неподдельный бедняк, обработанный и купленный самим Карпом Исаичем. И, вообще, в артели во всю применялся богатейший сектантский опыт конспирации. Стельный, например, одевался здесь в широченное барахло и выглядел не пузатым толстосумом, а просто богатырски сложенным грузчиком. Кроме того, Хнычка употреблялся всей артелью для скрытия и перепродажи украденного на пяти процентах в пользу его за эту работу. Тут был тот расчет, что если он и попадетя, то с него в деревне нечего взять, а притом же ему как настоящему бедняку ничего не сделают.

Коноплянкин был еще в артели чем-то вроде политотдела. Он снабжал артель слухами, контрреволюционными анекдотами, сам сочинял божественно-антисоветские стихи и ядовитые присказки. Карп Исаич высоко ценил его как незаменимого массовика и своего верного чуткого осведомителя.

Каждое утро, словно с обязательным рапортом, подходил Коноплянкин к Карпу Исаичу с новостями, случившимися в артели с момента ухода с работы до утра.

— Вечером, Карп Исаич, люби ты бох, приходила в барак партийная девка читать нам газету. Я шептал нашим слушателям ее, во всем соглашаться, а больше молчать. Правильно ли я, Карп Исаич, люби ты бох, поступил?

— Ничего, ничего — достойно поступил, — похвалил Карп Исаич: — Только в другой раз поступай немножко поиначе. Когда девка начнет читать, пушай все один по другому расходятся, будто надоело очень слушать. А ежели уходить некуда аль поздно, то слушайте и задавайте ей глупые слова про хлеб, про сахар, про одеву, спрашивайте чего будут выдавать по карточкам, тогда она отвадится и перестанет к вам ходить.

В следующий раз Коноплянкин докладывал:

— Вчерась, Карп Исаич, люби ты бох, приходил в барак Лутошка и они с Хнычкой пели богопротивную песню про коннова Буденнова. Я почестливо говорю им: Замолчь... Хнычка послушался, а Лутошка говорит мне:

Ах, ты, рожа-долото,  
Ты толкуешь не про то.

— Ну, меня тут сердце взяло: я закричал на него: — «Лутошка, люби ты бог, ты что это, сволочь этакая, такие слова старшим предлагаешь. Да я, говорю, незнамо что с тобой сделаю». На дру-

гой вечер слышу: опять он эту песню тянет. Вот чего с ним, Карп Исаич, люби ты бох, мне делать?..

— Я сам на него беседой подействую, — ответил Карп Исаич.

— Люби ты бох, Карп Исаич, а по мне так надо бы сделать: вон его из дома твоего и из артели, — ненадежный он для нас, Карп Исаич, люби ты бох, человечешко.

Карп Исаич отрицательно покачал головой:

— Неразумно это, Яким, неразумно. Мы выгоним его, а он перекинется к комсомольцам: там его начинят, ну он нас всех и посадит. Подумай-ка, что ты говоришь. Да его надо держать как девицу в терему, ублажать да начинять своей наукой.

Лутошка баловством, чрезмерным любопытством то и дело беспокоил Коноплянкина. В парне бурлила кровь, все его занимало, всюду парнишка совался и хотел все знать. Он то ругался с кем-нибудь из артели, то ввязывался в разговор с каждым встречным рабочим; пел песни, пробовал курить, донимал Хнычку, и в один прекрасный день купил и привинтил к пиджаку значек Мопра. Коноплянкин моментально заметил багровый квадратик на его груди и обеспокоенно подбежал к парню:

— Лутошка, люби ты бох, сволочь ты этакая, ты уж не в комсомол ли вписался?

— Да нет... Это я купил за полтинник.

— То-то. Мотри, не соверши такую дурость. Тогда я, люби ты бох, прям-таки удавлю тебя.

Лутошку от этого передернуло и он взъелся:

— Ну, на это у тебя, дядя Яким, руки коротки... Сам тогда не задохнись.

Коноплянкин сразу сбавил тон:

— Это, Лутошка, люби ты бох, так только к слову говорится, вроде шутки, но ежели такое случится, то в артели, люби ты бох, жисть тебе плохая будет.

Коноплянкин пригляделся к значку:

— Тут есть какое-то серебряное пятнышко...

— Это изображение, — ответил Лутошка.

— А чего тут такое выражается?..

— А это посаженный за политику помахивает из тюрьмы привет. Видишь, это — решетка, а это — рука с платком.

Коноплянкин так весь и просиял:

— Ну, Лутоха, люби ты бох, до чего же ты медальку себе подходящую нацепил... это значит, к тюрьме тебя потянуло. Все по делу господь судьбу намечает... Да, да... Привел-то бы бох в тюрьмишке тебе посидеть... Весьма очень ты для этого подходявый человек.

---

Недалеко от товарной базы, где кончалась железнодорожная ветка, находилась образцовая комсомольская столовая, куда артель заходила обедать, закусить или выпить чаю в свободные промежутки времени, которые бывали нередко. На этот раз что-то долго



не подавали со станции вагонов и артель ввалилась в столовую греться. Было около одиннадцати часов утра.

— Какой сегодня обед? — спросил Хнычка.

— Нет обеда, — ответала официантка.

— Как нет обеда? — закричал Хнычка: — Голодом что ли нас будете морить?.. Где заведующий?.. Давай сюда заведущева!..

— Он уехал за продуктами с самого утра и не возвращался до сих пор.

— Вот она образцовая-то, — печально покачал головой Карп Исаич: — Не надолго уже у них уменья хватило.

— Эх, Карп Исаич, — вздохнул Коноплянкин, — что с такой молодятины спрашивать? Пескари ведь это, а не народ.

Артель захихикала и возроптала в угоду своим вождям.

— Они теперь через день обед будут готовить.

— Приучил было цыган лошадь не ести, а она взяла и ноги протянула.

— Эй, касатки, подайте хошь чаишку животы пополоскасть!

— Будем чай пить и думать, что обедаем.

Минут через десять-пятнадцать подкатили два автомобиля, в столовку влетел комсомолец-заведующий, чернявый, худощавый паренек с вьющимися волосами, тужурка нараспашку, без кепки, несмотря на то, что был только март в начале и дни стояли холодные.

— Чорт побери, — закричал он отчаянно: — Из-за недостатка транспорта меня чуть не оставили без продуктов. Я еле вырвал два автомобиля. Сегодня день провален. Как я буду глядеть теперь своим ребятам в глаза. Я сию минуту вернусь. Надо разгружать.

И он понесся в хозотдел за разнорабочими.

Столовка наполнилась комсомольцами, которые, перед тем как встать на работу, заходили обедать. Они в несколько минут заняли все свободные столы.

— Сегодня нет обеда, — объявила официантка.

— Почему? — спросили десятки голсов.

— Сегодня опоздали подвезти продукты.

— Где заведующий? — опять, как по команде, спросили десятки голсов.

— Он сейчас будет.

В столовку ворвались оба шоффера:

— Куда сбежал заведующий?! Чтож мы сами что ли будем выгружать?.. А за простой машин он заплатит? Еще несколько минут, и мы укатим обратно.

— Скоро будут выгружать — он убежал за рабочими, — ответила комсомолка-официантка.

— Сейчас мы с ним поговорим, — раздались голоса.

— Мы ему накачаем...

— Чорт... Приходится итти на работу голодным.

— Надо накрутить ему хвост, чтобы этого не повторялось...

— Сажали на это место лучшего комсомольца и на вот тебе...

подвел...

Заведующий вбежал еще более разъяренным. Он еле перевел дух.

Его моментально окружили и потребовали объяснений.

— Почему ты нас оставил сегодня без обеда?

Артель с злорадством любовалась на все это и прислушивалась.

— Город невиданными темпами развивает строительство, — задыхаясь ответил комсомолец.

— Да ты темпами не закрывайся...

— Ты не вывертывайся.

— Твои-то где темпы?..

— Ребята! он хочет нам вместо обеда лекцию прочитать.

— Мы доверили тебе такую работу, думая, что ты будешь настоящим работником, а ты оказался шляпой.

— Чорт побери, — закричал комсомолец и рванул на себе рубашку. Дайте мне сказать, что мне надо, а не то я драться полезу... Так вот... невиданными темпами... строительство... в городе открылись десятки новых столовых... у нарпита нехватает транспорта развозить продукты...

На него опять набросились.

— Песенку эту ты нам, друг, не пой.

— Это оппортунистические объективные причины.

— У них, может быть, там расхлябанность, а ты не умеешь на них нажать.

— Требуй с них, рви.

— Заставь их минута в минуту выполнять свои обязательства.

— Ребята, это конечно, в последний раз. Я заявил им: если вы опоздаете еще раз, хотя бы на час, я лечу в РКИ... Я лечу в ГПУ. А сейчас, ребята, войдите в мое положение... Мне не дали рабочей силы... некому выгружать автомобили... Фабрики перешли на трехсменку... в городе такое строительство... в городе ужасно нехватает рабочей силы. В хозотделе почти нет разнорабочих, — все ушли на квалифицированные работы и они сейчас не могут оторвать и дать мне ни одного рабочего. Давайте сейчас возьмемся и выгрузим моментально...

— Хватил тоже... А где время-то?!

— Сейчас надо бежать на работу...

— А может, ребят, успеем...

— Успеем.

— Давайте разом...

— Моментально смахнем...

Ребята бросились к автомобилям, отперли платформы, вскочили на груз, приготовились носить, но в это время рявкнул гудок, призывающий на смену, и комсомольцы оставили автомобили, поспешив в корпус.

Заведующий ринулся в столовку и подбежал к Карпу Исаичу.

— Товарищ, ваша артель сейчас свободна... выгрузите продукты... Это же наше дело, общее, кровное... дело социалистиче-



ской стройки... Для артели тут работы на десять минут. Товарищи, прошу вас... Помогите...

— У нас своей работы по горло, — ответил Карп Исаич: — Перерыв у нас кончился — сейчас мы уходим...

— Но ведь это займет пустяк времени, — наседал комсомолец.

— А там на ветке ты что ли нашу работу сделаешь? С тебя там спросят или с меня?

Один шоффер беспрестанно подавал гудки, другой вошел в столовку:

— Будешь выгружать или не будешь? У нас громадный простой. Мы уезжаем. По твоей милости мы можем угодить на черную доску.

Лутошку все это коробило, как бересту огнем. Ему хотелось рвануться и уладить все, спасти продукты, успокоить комсомольца. В голове у него промелькнуло: «я бы на месте этого комсомольца заревел, а он ничего — держится».

И он не выдержал. Осмелился. Сказал:

— Карп Исаич, выгрузим, — взмолился Лутошка: — Мы одним махом. Працес пять минут.

Карп Исаич уперся в него невидящим, угрожающим взглядом:

— А тебя кто тут спрашивал? Суешься тут сглупу. Кто отвечает за артель?.. Свою работу мы будем упускать, так нам влетит...

— Лутошка, люби ты бох, сволочь ты этакая, — прошипел на ухо Коноплянкин: — Скажи хоть еще одно слово, так жисти своей не рад будешь...

— Граждани, — обратился Карп Исаич к артели, — не мешкайте. Давно пора на работу.

Артель дружно вывалилась на улицу. Лутошка поплелся сзади, как отверженный.

— Не хотят... Леня им... Лодыри... А долго ли бы сделать?.. Одним бы махом. Працес пять минут, — мысленно возмущался он поведением артели.

Комсомолец-заведующий, с голой грудью, без кепки, с возбужденным потным лицом, представлялся ему в этот миг уже окончательно смятым этим неожиданным стечением несчастных обстоятельств.

«Как-то уж кудрявый выкручивается, — подумал Лутошка: — Где он достанет рабочих?.. А может афтомобили уже уехали... Весьма очень объективно парня скрутило...»

Приближаясь к товарной базе, он увидел, что вагонов со станции до сих пор не подали и его еще больше возмутило поведение Карпа Исаича и всей артели:

— Вот лентяи, отказались выгружать, а делать-то ведь все равно нечего.

Он остановился и, убедившись, что за ним никто не следит, отбежал за угол склада с хлопком. Когда артель скрылась за углом, Лутошка пустился бежать к столовке.

Автомобили еще не ушли. Он скорее отыскал глазами заведую-

щего. Комсомолец стоял на подножке переднего автомобиля и, ухватившись за шоффера обеими руками, умолял его:

— Товарищи, дорогие, подождите одну минуточку, одну секундочку... Я сейчас остановлю у ворот комсомольцев, которые сменились с работы, приведу их сюда и мы одним ментом выгрузим. Товарищи... дорогие...

— Нет, это очень долго, — отвечал шоффер: — Когда ты их еще наберешь, приведешь...

— Заведующий! — крикнул звонко, бодро Лутошка: — Давай выгружать! Працес десять минут.

В обычное время это показалось бы невероятным и предложение этого парня подверглось бы насмешкам и сомнениям, но тут в этот момент было не до этого. Как и всякий утопающий, заведующий схватился за эту соломинку.

Даже шофферы не выронили ни одного слова, а комсомолец соскочил с подножки и схватил за первый попавшийся мешок.

— Ты лезь наверх, — сказал Лутошка: — Ты мне только «наливай», а я буду носить.

— Один-то не выдюжишь...

— Небось, выдюжу... Сила у меня чортовская. Ты не гляди на меня, что я такой... Это я худ от любви, а не от того, что во мне здоровья нет. Опять же я грузчик... у меня привычка.

И на самом деле: с мешком Лутошка шел быстро и легко, будто счастливый отец нес двухлетнего сына на закорках.

Обратно он возвращался бегом.

— К утру-то перетаскает, — крикнул шоффер со второго автомобиля своему товарищу, который ничего ему на это не ответил, что-то обдумывая и хмурия брови.

Прошло десять, пятнадцать минут. Лутошка убедился, что на самом деле силы в нем таятся немаленькие и принялся их тратить с большой расточительностью, приказав «наливать» себе на спину картошки по два мешка.

Комсомолец, подтащив к краю несколько мешков, сам приновился отнести мешок, и опять вскочить на платформу, чтобы два навалить Лутошке. Дело подвигалось совсем неплохо.

Пот залил все лицо Лутошки, он дышал часто, но глаза его светились радостью, удальством, и не было никаких признаков, что он сдаст.

— Этот афтонобил кончается, — сказал он торжествующе, — сичас подавай другой.

Только что он отошел от платформы, а комсомолец сделал движенье, чтобы соскочить, успеть отнести мешок и опять вскочить, как шоффер крикнул:

— Стой!..

Комсомолец застыл, согнувшись для прыжка.

Шоффер вылез из своей кабинки и подставил спину:

— Наливай.

Энтузиазм захватил шоффера и со второго автомобиля.

Комсомолец не успевал наливать, работая, как кочегар у гро-



мадной топки. В десять минут был разгружен второй автомобиль и обе полуторатонки, устрашающе гудя, как два серые вихря, вынеслись за ворота.

Комсомолец, покачиваясь от усталости, подошел поцеловать грузчика. Лутошка в смущении растерянно подставил лицо, неловко дернув при этом головой и лица их шлепнулись друг о друга, как две лужи воды.

— Как тебе фамилия? — спросил комсомолец.

— Моя фамилия — Ерошкин, — ответил Лутошка и медленно пошел к товарной базе.

— А ты комсомолец? — крикнул заведующий.

— Нет, — не оборачиваясь крикнул грузчик.

Дойдя до хлопкового склада, он остановился у знакомого угла, поглядел на то место, с которого недавно пустился бежать к автомобилю и сообразил, что надо привести себя в обычный вид. Он вытер полый пиджака лицо, нахлобучил на глаза шапченку, застегнулся на все пуговицы и пошел дальше.

Вагонов до сих пор еще не подали. Часть артели болталась по путям, а большая часть грелась на весеннем солнышке. Лутошка подошел к сидящим с таким видом, будто ему наскучило бродить и глазеть.

Увидев его, Коноплянкин сказал:

— Лутошка, люби ты бох, сходил бы, поглядел, выгрузили ли они?

— А я был уж там, — грустно ответил Лутошка.

— Кто выгрузил?

— Никто не выгрузил. Афтонобили так и уехали обратно, — соврал он.

На лицах Карпа Исаича и Коноплянкина появилось ликование, а глядя на руководителей возликовала и вся артель.

— Вот так работнички всемирной...

— Работают, как воду решетом носят.

— Все строительство у них развалится.

— Они кричат, а у них все по швам расползается.

Лутошка еле сумел скрыть коварную улыбку и пошел поперек путей, подставляя лицо солнцу. Он чувствовал себя прекрасно, как чувствует себя человек, совершивший подвиг. Кровь в нем текла ровно, сильно и казалось пела песню. В нем поднималось вдохновение и он тихо запел на мотив «Мы — пожара всемирного пламя».

Беспартийный товарищ Ерошкин

Выгрузил фтанабиль картошки

И как ни в чем не бывало пошел...

А на сердце ему хорошо...

Заведующий столовой всюду рассказал про диковинного парня из артели грузчиков и секретарь коллектива комсомола хватился, что у него слабо ведется работа среди молодых рабочих-новичков, прибывших на фабрику из деревни. Заведующему столовкой Силаеву и комсомолке Кате Цихон было поручено шефство над грузчиком Платоном Ерошкиным.

На тех днях в столовке Катя Цихон благоразумно отозвала Лутошку в сторону и, лаская его своими большими темными глазами, начала с ним разговор.

Артель моментально заметила это событие.

— Глядите, братцы, Лутошка что делает, — засмеялся Карп Исаич.

— Какую красулю подцепил неглаженный пес, — завистливо протянул похотливый Стельный.

— Собьется он теперь с пути истинного, — толковал Коноплянкин: — Да она его, непутяя, в баранку согнет.

— Бровями-то она так и возит, — слышны были замечания грузчиков.

— Глазом-то на него, глазом-то она как повела.

— Ах, божье соблазненье... Нога-то у нее кабыть выточенная первеющим мастером.

— На мои бы руки такую-то, — сказал, будто пригрозил Хнычка.

— Ты, товарищ Ерошкин, как соображаешь насчет комсомола, и как ты к нему относишься? — говорила Катя.

— Уважаю, — ответил Лутошка.

— Почему же в стороне от нас находишься?.. И шагов никаких в нашу сторону не делаешь?..

— Дороги не знаю... Несмышленный я в партийном деле...

— Приходи сегодня в семь на кружок... Знаешь, где клуб? Комната номер двадцать семь. Запомни — двадцать семь.

— Заповню, — обещал Лутошка.

— Ну да ладно, я тебя встречу у входа, — только не опаздывай и приходи обязательно...

— Обязательно, — как эхо ответил Лутошка.

Артель встала и пошла на работу.

— Поученье ему сделай, — уходя, приказал Карп Исаич Коноплянкину, кивнув в сторону Лутошки.

— Чего это глазастая тебе говорила? — остановил Лутошку Коноплянкин.

Лутошка смерил его взглядом и скучливо скривил рот:

— Да ничего не говорила... Все больше подмигивала.

— Лутошка, люби ты бох, не груби старшему. Карпу Исаичу опять нажалюсь.

Они шли за артелью.

Лутошка стыдливо, как красная девушка, засмеялся и похвастал:

— Стыдно, дядя Яким, говорить-то... В кину она меня звала. Чего-то я ей пришлось по сердцу, — любовь она зажигает.

— Ой, Лутошка, люби ты бох, пропадешь ты, раз с такими начал водиться.

— Так что же теперь мне уж и с девкой нельзя погулять? — возмутился парень.

— Да ты ведь стерва этакая с жидовкой связался, — не вижу что ли я... Мотри, Лутошка, люби ты бох, накажет тебя созда-



тель, — околеешь ты из-за этого собачьей смертью. Ты с ней не водишь... Чтобы этого не было... Слышишь! Я тебе свою подходящую девку найду, раз уж ты в года такие взошел.

Вечером Лутошка к семи часам двинулся на кружок. Карп Исаич, заметив его отбытие, крикнул:

— Ты куда это опять удираешь?

— К Хнычке я... разгуляться, — смиренно ответил Лутошка, прекрасно понимая, что связь с комсомольцами надо хранить в величайшем секрете, чтобы не быть раздавленным руководством артели.

— Смотри, чтобы там никаких безобразий и песен про коннова буденнова не было. Коноплянкин это не любит. Грех.

— Ладно... Не буду.

Катя Цихон встретила Лутошку в клубе; он бродил по длинному коридору, задрал голову кверху и то и дело поворачивая ее то в ту, то в другую сторону, как угловатый гусак, осматривающий новое место, разыскивал двадцать седьмую комнату.

— Опоздал, опоздал, — засмеялась она и повела его в конец коридора, — первый раз и уже опоздал.

В двадцать седьмой сидело человек десять новичков-рабочих, недавно пришедших из деревни. За столом сидел Силаев. Он заявил:

— Беседу проводит Цихон. Она будет говорить сегодня о классах и классовой борьбе. Товарищ Ерошкин на прежних занятиях нашего кружка не был, он пришел первый раз и ему многое покажется непонятным, и потому нам с ним придется заняться особо. Цихон, говори.

— Класс это — большая группа людей, объединенных одинаковыми условиями производства и одинаковым отношением к средствам производства, — говорила неторопливо и протяжно Катя и пространно поясняла, что такое условия производства и средства производства.

— Классы это — такие группы людей, из которых одна может присваивать труд другой, благодаря различию их места в укладе хозяйства. Капиталист присваивал себе труд рабочего, кулак — труд батраков и находившихся в его кабале бедняков... Классы не вечны. Они исчезают с того момента, когда производственные силы достигают уровня, достаточного для того, чтобы обеспечить участие всех членов общества в организации и руководстве производством. Но классы не отмирают сами по себе, как это проповедуют меньшевики. Нет. Они исчезают в процессе беспощадной классовой борьбы. Большевики, руководясь теорией Маркса, доказали всему миру на деле, что развитие классовой борьбы при капитализме неизбежно приводит к диктатуре пролетариата, которая есть орудие беспощадного подавления сопротивления капиталистов и их приспешников, окончательного привлечения крестьянства и всех трудящихся на сторону пролетариата и организации нового бесклассового социалистического общества. Классы не отмирают, а уничтожаются в ходе классовой борьбы. Вот, например,

в настоящее время в деревне в ходе классовой борьбы ликвидируется кулачество как класс. Беднота и среднее крестьянство под руководством пролетариата организует колхозы и в новом коллективизированном укладе сельского хозяйства кулаку нет места и он становится злейшим врагом колхоза и потому как враг ликвидируется...

«Так, значит, Карпа Исаича, ежели бы он не переехал из деревни на фабрику, ликвидировали бы, — мелькнуло в голове Лутошки, — ведь там в деревне все бедняки так и звали его кулаком. Вон оно што... Из-за этого может он и сюда переехал.. Может он раньше учуял, что с ним будет. Вот чорт какой ловкий, — удрал, спаясь».

Лутошка слушал Катю очень внимательно, а между тем мысль о Карпе Исаиче, как слабый неопытный ручеек в самые первые весенние дни, пробиралась дальше.

«Присваивал труд батрака. А батрак-то — я, значит он мой труд присваивал. Да и до меня батраков у него было много. Да странников он на себя заставлял работать. Так вон оно што...»

— Каждый класс имеет в жизни свои особые классовые интересы, задачи и цели, противоположные задачам и целям других классов. Буржуй, например, имеет тот классовый интерес, чтобы больше эксплуатировать рабочего, больше выжать из него, больше нажиться. То же самое ставит себе целью и кулак, как представитель буржуазии в деревне... А пролетарий имеет совсем противоположные классовые интересы. Он ставит себе задачу свергнуть капитализм, овладеть всеми средствами производства и построить новый общественный уклад без насилия и эксплуатации в нем. Кулак в деревне в настоящее время борется за то, чтобы оставить в неприкосновенности единоличное хозяйствование в деревне, как систему, позволяющую эксплуатировать кулаку батраков, бедняка, которые имеют такие же классовые интересы, как и пролетарий... Сами буржуи и кулаки, а также люди из классовых прослоек, состоявших на службе у буржуа и кулака, как-то: меньшевики, подкулачники, правые оппортунисты и сектанты, затушевывают, стирают это различие классовых интересов, стараются ослабить классовую борьбу и тем самым помогают врагам трудящихся и задерживают социалистическое строительство...

«Сектанты... — вспыхнуло это слово в сознании Лутошки: — А у нас вся артель грузчиков — сектанты. А Карп Исаич в деревне был верховодом сектантов всего нашего обаялья. Значит, он хочет провести свои классовые интересы, но это он видно скрывает. В глаза же он всем говорит, что секта существует для того, чтобы вымолить всем своим рай. Хитрый. Все главное прикрывает другим. И здесь уж он завел много сектантов... Каждый день отдыха моленья устраивает, только я на них не хожу, — думал Лутошка, — потому что меня воротит от их молений; леригия это — опеум, что означает по-китайски куренья хуже вина».

При выходе из клуба Катя сказала Силаеву:



— Я очень недовольна тем, что не могла вытянуть своей беседой ни одного слова из этого новенького... Ерошкина.

— Он мне определенно нравится, — ответил Силаев: — В нем, понимаешь, есть какой-то огонек.

— Это верно, — согласилась Цихон: — Несомненно в нем что-то заложено... Его только надо уметь воспитать, вооружить. Силаев, позови его к нам: мы потолкуем с ним.

— Ерошкин! — крикнул Силаев: — Сюда на минутку!

Лутошка подошел к ним и они пошли вместе.

— Почему же ты, Ерошкин, не принял участия в беседе. Правда, ты не освоился еще, пришел в первый раз, но ты ведь все-таки бойкий.

— Мало ли что бойкий, — пробормотал Лутошка. Он смутился и стал задумчивым: — В голове то у меня много всякой мысли ходит, да никак не свяжешь их вместе-то... Лезут они в разные стороны, а станешь их стаскивать вместе, так они вышибают одна другую. Чисто дерутся, ей бо...

— Раз ты еще не умеешь организовать мысль, так и говори все, что думаешь, а мы разберемся, разъясним... поможем тебе, — с душой, горячо сказала Катя.

Лутошка пожал плечами и сделал выразительный жест рукой:

— Не говаривал я еще на собраньях-то.. Несмело мне... Воспитан я в робости и испуге, вырос в рабстве. Вот от этого я такой и несмышленый.

Но Силаев не понял специфики этого откровения и бестактно заговорил:

— Воспитанье у всех у нас одинаковое, все мы пришли с задворок жизни, но вот вытравили в себе рабство отцов.. Чувствуем себя хозяевами, работаем, высказываемся. И тебе надо быстрее осваиваться.

— Это, Силаев, совсем верно, — возразила чуткая Катя: — Ты смазываешь. К каждому комсомольцу нужен индивидуальный подход. Огульный подход к личности и при одинаковом происхождении не годится.

— Это — нежности, — заявил Силаев: — Надо, в общем быстрее осваиваться, — обратился он к Лутошке: — Надо поскорее сбрасывать с себя закорюзлость.

Он хотел сказать еще что-то, но повстречалась девушка и он повернулся к ней...

Лутошка совсем растерялся: и уйти от Кати ни с того, ни с сего было неловко, и говорить с ней он не знал о чем, — такая она была серьезная и строгая.

А сама она видимо не думала от него уходить, придвинулась еще ближе к нему и на повороте кивнула головой:

— Идем вот в эту сторону.

Шел густой сырой снег; фабрика и очертания города вдаль виднелись сквозь кружево снега, словно через занавеси, которые окутывают окна в доме Карпа Исаича. Снег на глазах у Лутошки преображал Катю, укладываясь пластами на ее плечах, спине и

шапке. Снег таял на щеках, носу девушки; она от этого румянилась и начинала выглядеть веселой, ласковой и смешной.

— Скоро весна, — горячо произнесла она.

— Весна нынче будет поздняя, — отозвался на это Лутошка.

У него мелькнула мысль заговорить с ней мудренными словами, но подумав, он решил, что здесь это не выйдет так ловко, как выходило с деревенскими девками и счел такой разговор неуместным.

— Нас совсем занесет снегом, — засмеялась она: — В кино уже поздно.

На пороге этого громадного неведомого города Лутошка почувствовал себя крайне бессильным и жалким существом. Это ощущение было так глубоко, что даже перед Катей, много знающей и очень умной, он будто стал ребенком, постыдно большим и безнадежным.

Лутошка носком валенка копнул землю.

— Катя, — обратился он жалобно: — Покажи мне как-нибудь весь город. Все в нем покажи.

— А ты разве в городе еще не был?

— Был я только на толкучке с нашими грузчиками.

— Тогда в день отдыха и пойдем в цирк, в музей... Потом я покажу тебе город.

— Вот это хорошо, — обрадовался Лутошка: — На весь день смотренья хватит.

Катя повернула обратно:

— Если у тебя, Ерошкин, есть время, то идем ко мне — посидим, выпьем чаю, — пригласила Катя.

— Идем... Я за тобой хоть на край света, — выпалил Лутошка.

— С чего это так? — удивилась Катя.

— Умная ты... Все время охота тебя слушать, — сознался осмелевший Лутошка.

Катя смущенно отвернулась и вскоре, овладев собой, ответила:

— Это очень лестно. Только так ли это на самом деле...

Наступило продолжительное бездумное молчание.

— Какие книжки ты читаешь? — спросила неожиданно Катя.

— Словарь заграничных слов.

— Это неплохо.. Но еще что?

— А то так кое-какие стишки.

— Надо читать, Ерошкин. Вот дома я тебе дам несколько книжечек попроще. Ты их обязательно прочитай, а что не поймешь, спроси: я тебе поясню.

В ее чистой простенькой и такой белой от покрывала на кровати, от занавесок и накидки на вешалке, комнатке Лутошка растерянно затоптался у двери:

— Проходи и садись, — приказала Катя.

— Я наслежу-у, — стыдливо косясь на чистый пол, протянул Лутошка.

— Это правильно, — похвалила его Катя: — Иди, садись, я тебе под ноги газету постелю.



Она подала ему книжку, а сама ушла на кухню ставить чайник, захватив с собой несколько свертков.

— Угощать меня хочет, — сказал Лутошка, чувствуя себя на девятом небе.

Он держал перед собой книжку, но от радостного волнения не мог разобрать ни одного слова.

— С чего это она такая ласковая, — кумекал он: — Разговаривает со мной так хорошо и хочет поить чаем... Это она, наверно, в меня влюбилась. С чего же больше? Почему она это так скоро в меня врюхалась?.. Разве я уж очень красив...

При этой мысли Лутошка приподнялся и заглянул в зеркало, стоявшее на столе между книжек и коробок. На него глянуло юное, бойкое синеглазое, с свисающими на лоб белокурыми кудрями. Лицо здорового парня.

Лутошка остался недоволен своим лицом и сказал себе:

— Белобрысый чорт. Но может в городе на такие рожи мода, а в деревне девки на них безо всякого внимания. Наши деревушинские девки чернявых любят. Чернявому в деревне у девок раздолье, а сивому что останется. А здесь у городских девок скус видно совсем наоборот, а то с чего бы она ко мне такое расположение выказала.

С этими думами он докатился до вывода: «значит и мне ее надо любить». И тут его взяла оторопь: он увидел, что влюбиться в нее не может: стройная, тонкая, быстроглазая — она не в его вкусе. Ему нравились полные, широкие, с пышными формами и чтобы глаза с поволокой. Он любил Лиду, которая всем отвечала его идеалу красоты, усвоенному у деревенских дон-жуанов.

Лутошка приуныл. Вернулась Катя.

— Сейчас будет готов чай, — молвила она.

— Вот, Ерошкин, ты возьмишь с собой еще пару брошюр, а пока я тебе почитаю речь Ленина на третьем съезде комсомола.

---

— Лутошка, люби ты бож, приходи вечером к нам в барак, — тепло, покровительственно говорил Коноплянкин: — Ох, чем я тебя обрадую, на ногах не устоишь. В восемь часов приходи, как по дому все дела справишь. Обязательно приходи... Слышишь?..

— А зачем? — полюбопытствовал Лутошка.

— Там узнаешь. Сказано тебе приходи и все. Заботятся о тебе, дураке, а он еще «зачем».

Разбитной Лутошка, конечно, в восемь часов явился. К нему тотчас же подошел Коноплянкин и приторно пропел на ухо:

— Поди-ка, вот тут за поленницей кто тебя дожидается... Поди скорее, а то уйдет. Не робей... С ними надо смелее... Бери прямо за зебры. Ну-ну, иди смелее, чего тут толчешься... Нечего не сметь. Энту остроглазую смел натти, а тут не смет. Так вот и двину по носу-то...

Лутошку охватило удалство, и он, не сопротивляясь и ничего не ответив, пошел на улицу.

За пленницей его ждала кругленькая небольшая смазливая девушка.

Лутошка, озорничая, протянул ей руку и сказал насмешливо:

— Здравствуй... Сорок лет, сорок зим не видались; сошлись — и поговорить нечего.

— Мы с тобой совсем не видались, первый раз встречаемся, — пробормотала, краснея, девушка.

— А на балу вместе гуляли — рази не помнишь? — шутил Лутошка.

Девушке этот тон пришелся не по нраву; она смутилась и ничего не отвечала.

Чуткий Лутошка это сразу заметил и переменялся. Он решил представиться ей учтивым и образованным и начать разговор на вы, плавно и успокоительно, как инженер Левенда.

— Нет, серьезно, — протянул Лутошка: — Я хочу с вами разговаривать вполне любовно без недоуменья. Где вы, например, работаете?..

— Это мы то?... Мы работаем в домашних работниках.

— И сколько же вы за эту должность огребаете в месяц?

— Двадцать рублей на всем готовом.

— Здорово зашибаете.

Лутошка на этом осекся, не зная, о чем больше с ней говорить; ничего то она наверно не знает... В клуб что ли бы пойти... Тоска с ней смертная.

Эта мысль подтолкнула его еще на один вопрос:

— А в клуб вы развиваться ходите?

— Нет...

— Отчего же нет?

— Не смею...

— Чего же не смеешь-то?.. Надо развиваться, а то вы политики не поймете. Идемте, я вам покажу весь працес.

Выйдя из-за пленницы, Лутошка увидал в окне барака расплуснутое лицо долотом и про себя усмехнулся: «Коноплян ин следит, как дело у меня идет».

Чтобы доставить своему «покровителю» удовольствие и показать, что его заботы и старания не пропали даром, он обнял девушку по деревенски за шею и таким манером продефилировал перед окном, в котором темнело лицо Коноплянкина.

Девушка, видимо, приняв это за начало любви, прижалась к нему.

— Как ваше имячка? — проворковал Лутошка.

— Ду-уся, — шепнула девушка.

В клубе он показал и рассказал все, что узнал о клубной жизни за эти дни и потом, услышав пение и игру на баяне в одной из комнат, завернул туда.

Здесь проводила репетицию агитбригада. Небольшая группа взрослых и молодежи смотрела на репетицию.

— Вот садись здесь и гляди, — сказал Лутошка: — Это будет пользительно, а я кое-куда схожу...



Он унесся в комнату Кати Цихон, да так и забыл о ставленнице Коноплянкина, не пришел проводить ее домой.

— Здравстуй, Платон, — приветствовала его в тот вечер Катя: — Прочитал ли мои книжечки?

— Прочитал обе.

— Понял что-нибудь в них или нет?..

— Как не понять, — веско проговорил Лутошка: — Еще бы не понять, чай я не бесчувственный какой. Книжка про Степана Халтурина всю душу мне разворотила. И после книжки всю ту ночь мне Халтурин снился, видел я даже, как его вешали. Другая книжка про теорию не такая завлекательная. Про некоторые места мне охотна тебя распросить, а то у меня у одного мысля до них недостает.

— Приноси книжку и мы конкретно потолкуем.

— А ты бы мне подсыпала книжечку, другую про таких свергателей, как Халтурин. И про Ленина бы...

— Достану, Платон, обязательно, хоть целый десяток, но и теоретические книжки надо читать, а не то твое чтение будет чересчур однобоким.

На другой день Коноплянкин шепотком справился у Лутошки:

— Ну, как, люби ты бох, по сердцу ли пришлось кругляшечка-то?

— О, хороша, — восторженно отозвался Лутошка, — чисто минерал.

— То-то и оно, — обрадовался Коноплянкин: Это не то, что твоя чернявая шкелетина. Совсем другой вкус. Эта послаще будет.

В тот день в столовке после обеда Лутошку остановил Силаев:

— Ерошкин, мы тебя выдвинули в комиссию содействия при нашей комсомольской столовке.

Лутошка обрадовался: он будет в комиссии!.. Чорт побери, это заманчиво! Интересно, как люди чувствуют себя в комиссиях. Только вот Карп Исаич не узнал бы... Да нет, не узнает: обведу, не впервой...

— А что мне надо будет делать в комиссии-то? — спросил Лутошка.

— Помогать, контролировать.. Да там в комиссии тебе точно обрисуют все функции.

---

Лида последнее время заметно изменилась — стала более строгой и замкнутой, но зато одевалась с особенным шиком. В узких, длинных платьях она выглядела еще более солидной, присадистой. Что-то дало ей повод почувствовать себя женщиной с твердым характером и она обращалась теперь с Левендой и его друзьями властно и высокомерно. Она последнее время все чаще замечала на себе чувственный влюбленный взгляд Лутошки. Она видела, что парень пьяно, безнадежно стремится к ней. Это ее возбуждало, и она вдруг с поразительной ясностью временами ощущала, что в

Лутошке ей нравится юность, свежесть и его первое яркое чувство к ней. В такие минуты она расстраивалась, не знала, что делать с этим маленьким похотливым чувством, курила, тяжело ходила по комнате, наконец, приглашала в свою комнату Лутошку и начинала его изводить.

— Как, Лутошечка, живешь? — улыбалась она.

— Лучше всех, — смеялся Лутошка.

— Нравится тебе город?

— Нравится...

— Чем он тебе нравится?

— Чувствую, что душа у меня здесь развивается.

— Ну, это совсем не интересно. Запомни раз навсегда: чем больше будешь знать, тем тебе случнее жить будет.

Она потягивалась перед Лутошкой и, глядя на него прищуренным, влажным взглядом, сказала:

— Тянется, зевается, никто не догадается.

Лутошка стыдливо краснел и не знал, что сказать.

Лида задела за его руку бедром и, доставая какой-то флакончик на шкафе, наклонилась над парнем. Рассудок его помутнел, и он, обхватив ее руками, изо всей силы потянул к себе. Она, не сопротивляясь, села к нему на колени и, сделав презрительную мину на лице, молвила протяжно:

— Фу, какой ты неприятный... Ты совсем не умеешь обращаться с женщинами. Обхватил, ущемил, и сразу всего очарования нашей встречи как не бывало. Чтобы знать, как надо ухаживать, ты бы хоть романов побольше читал.

У Лутошки сразу опустились руки; он почувствовал себя бессильным, жалким и неловким, а она нехотя встала и пошла к зеркалу.

Потом она упала на диван и проворковала:

— Лутошечка, милый, тебе хочется жить?

— Хочется, — сознался Лутошка.

Она грусно удивилась:

— Не понимаю, почему тебе хочется жить...

— Мне все интересно. Охота все знать, работать на должности, выступать на собраниях.

— Фу, какой ты скучный, толстокожий человек. А мне совершенно не хочется существовать. Жизнь для меня не интересна. Скука, скука... Еще за границей я бы пожила. Как бы я там любила, как бы одевалась, как бы проводила ночи! Бары, кабачки, ревю...

— Я этих слов не понимаю, — сердито буркнул Лутошка.

— Ты ничего не понимаешь. Жизнь... Ах, как хочется наслаждаться жизнью! Ты уже надулся. Фу, безумный... Я не виновата, что ты не умеешь обращаться с хорошенькими женщинами. Ну, слушай, злюка, я тебе спою интересную песенку.

Она взяла гитару и запела вполголоса:

... Что верно?.. Смерть одна.  
Как берег моря суеты,  
Нам всем прибежище она...



Кто ж ей милей из нас, друзья?  
Сегодня—ты,  
А завтра—я...  
Так бродьте же борьбу,  
Ловите миг удачи...

Лутошка встал и, пошатнувшись — голова кружилась, в теле бродило какое-то бурное томление, пошел к выходу.

— Куда ты, Лутошечка? — спросила Лида.

— Я ничего не понимаю. Тошно мне чегой-то.. И не знаю, как с тобой обращаться: сам я не свой, — бормотал Лутошка, скрываясь за портьерой.

— Лапоть! — крикнула она ему вслед и рванула струны гитары.

....Лутошка стал теперь дерзким и злым. Каждый вечер он уходил куда-нибудь и, когда Карп Исаич орал на него: «куда ты», то Лутошка не тянул придавленно: «к Хнычке я погулять», а говорил твердо: «что ж мне теперь никуда и не выйти? Куда хочу, туда и пойду, — ты меня не привяжешь».

Один раз Лутошка с комиссией содействия проверял состояние кухни и расходование продуктов в комсомольской столовой. К нему кто-то подошел сзади и неслышно прошептал на ухо:

— Вот я скажу Карпу Исаичу, что ты с комсомольцами валандаешься. Он те покажет..

Лутошка оглянулся и узнал в ней помощницу повара этой столовки, новую сожительницу Карпа Исаича. Эта толстая, жирная баба была привлечена в секту месяца два назад и на молениях приглянулась Карпу Исаичу, Лутошка сердито посмотрел на нее и ответил спокойно:

— Говори, жалко што ли... Плюю я на твоего Карпа Исаича.

— Ай-ай-ай! — ужаснулась она: — Такие слова ты говоришь про своего воспитателя. Так-то ты ему благодарность выказываешь. Ну, теперь обязательно все скажу, а то было хотела тебя пожалеть, не говорить.

— Он не воспитатель, а исплататор, — прошипел Лутошка: — Говори, все ему говори... Я не боюсь... А я всем расскажу, как он вас околпачивает. Дура ты, попалась ему на удочку.

— Он нас от скверны спасает, а не околпачивает.

— Он вас с правильной дороги сбивает.

Баба отскочила от него.

Лутошка не боялся, что она расскажет своему работодателю, решив так же резко ответить и ругаться даже с несильным Карпом Исаичем. Но повариха, видимо, не решилась заводить скандал; видимо, не сказала, потому что Карп Исаич не говорил ему по этому поводу ни слова.

---

Лутошка аккуратно посещал политкружок новичков, кино, бродил по клубу и иногда заходил к Кате Цихон за книжками. Книжки он теперь орал еще из библиотеки, но те, которые принадлежали Кате Цихон, приятнее было читать. В комнатке Кати Цихон Лутош-

ка написал и заявление в комсомол. Сидя у стола, заваленного книгами и коробочками, и беседуя с разумной девушкой, Лутошка невольно вспоминал первое посещение этой комнатки. В такие минуты он мысленно смеялся над своим тогдашним бессмысленным предположением, что она ласкова и много заботится о нем из-за того, что влюбилась в него. В последующие же дни он по присущей ему, чуткости заметил, что ее внимание и расположение к нему порождено не любовью, а каким-то другим более высоким и благородным стимулом.

Наивные мысли Лутошки о любви стали для него постыдными, как неуместное слово. Он видел, что Катя не только с ним одним, а со всеми комсомольцами обращалась также ласково и внимательно. Это она называла комсомольским товарищеским отношением друг к другу. И любовь ее представлялась Лутошке как высшая форма проявления этой дружбы по отношению к избранному парню.

Однажды после занятий кружка Катя известила:

— Латка, завтра в восемь комсомольское собрание. Обязательно приходи. Тебя принимать будем.

Он еле дождался этого знаменательного вечера и как ни сдерживал себя, как ни говорил себе, что еще рано идти, все-таки не смотря на это пришел на собрание без двадцати в восемь. Но вопреки вековой привычке опаздывать на собрания все уже собралось, зал кишел, гудел, в настроении чувствовалось что-то необычное.

Лутошка прошел вперед, отыскал глазами Катю в кругу спорящих комсомольцев и подошел слушать.

— Нет, я со всей комсомольской настойчивостью осуждаю поступок Сорвачева. Это — отсутствие силы воли, смешанной с себялюбием не нравится мне, — говорила Катя Цихон.

— Но ведь он хотел этим доказать, что его изобретенье чрезвычайно ценно, — возражали ей.

— Своим выстрелом он хотел обратить внимание на то, что на нашей фабрике засела стая вредителей.

— Но я не поверю, что у него не было путей доказать все это без выстрела...

— Но ведь это он доказывал почти два месяца. И не смог доказать. Все считали его чуть ли не дурачком, помешавшимся на изобретении своего красителя. Техническая комиссия нашла, что краситель никуда не годен, а тут бродит какой-то комсомольчик, жалуется, хвалит свой краситель, который на испытании вместо того чтобы красить, стравил четыреста метров товара. Сорвачев этот удар едва перенес. Пробовал парень все это выяснить, оправдаться, доказать, но его в лучшем случае жалели, иные хихикали ему вслед, а многие дураки смеялись над ним открыто. Ну, парень бился-бился, да и запалил себе в сердце.

— А вы, его товарищи, где были эти два месяца? — закричала Катя: — Вы... мы... проглядели парня...

— Конечно, проглядели, — сказала группа комсомольцев во-



круг Кати: — Мало работали над овладением техникой. Надо было самим сначала испытать краситель, потом выделить коллектив комсомольцев для реализации этого изобретения и после этой подготовки разговаривать с комиссией инженеров... Может она состояла из вредителей...

— После времени все ясно стало, а тогда не видали, — слышались тяжелые, как вздохи, голоса.

— В посмертной записке он пишет, что его краситель — исключительной ценности и заменяет два импортных красителя, за которые республика платит по восемьдесят рублей золотом за каждый килограмм.

Секретарь комсомольского коллектива фабрики попросил занять места и начал собрание.

Мрачно, не поднимая головы, он предложил почтить память комсомольца Сорвачева вставанием.

...Выходя из клуба после собрания, Лутошка как-то невольно очутился рядышком с Катей Цихон.

— Ну, Латка, поздравляю, — сказала Катя сурово: — От души поздравляю. В твоей жизни это — исторический день, — ты стал комсомольцем. Теперь надо работать и учиться изо всех сил. Ты сам видишь, как много перед нами работы, как беспощадна классовая борьба. Вот возьми случай с Сорвачевым. Парень пал жертвой классовой борьбы. Это на первый взгляд не ясно, но если всмотреться глубже, то станет ясным, что это дело рук классовых врагов. Но мы, Латка, должны быть победителями. Надо работать, бороться и смотреть в оба...

Ее яркие, быстрые глаза смотрели сейчас строго и хмуро, голос звучал грозно, и эта тонкая изящная девушка показалась Лутошке стойким и суровым воином.

---

Стельный шутивно шлепнул Лутошку по затылку.

— Что задумался?.. От дум с ума сойдешь, аль бы застрелишь-ся. Вон, сказывают, один такой думатель позавчера застрелился. А молодому думать нет ничего вреднее. В комсомольцах был.. книжки читал, и дочитался, — шарахнул в себя из ливольверта.

— Не ври, пожалуйста, — остановил его Лутошка: — Не от книжек он застрелился, а из-за того, что его изобретение погубили..

— Вот по моему и выходит: изобретение-то откуда?.. От книжек. Книжки его погубили.

— Брось ерунду пороть... Я лучше твоего знаю, в чем тут дело...

Эти слова, произнесенные резко и уверенно, обеспокоили Стельного.

— Ты, Лутоха, уж не в комсомол ли зачесался?

— А тебе какое дело, — крикнул Лутошка: — Захочу и запишусь, — не остановите.

— Ох, хо, хо, — многозначительно проошал Стельный: — Вон

какую свободу ты себе забрал. Надо будет об этом сказать Карпу Исаичу, чтобы он тебя как след приструнил.

— Иди говори, — махнул рукой Лутошка и пошел прочь от него.

Скрываясь от Стельного, Лутошка налетел на Коноплянкина.

— Ну, Лутошка, люби ты бох, с толстущечкой как у тебя дела подвигаются? — живейно спросил Коноплянкин.

Лутошка с ненавистью смотрел на его сусальную, долотообразную морду и подумал, ощущая в себе необыкновенный прилив силы: «Ведь одним ударом я из его морды катлету сделаю».

— Подвигается из кулька в рогожку, — буркнул он, думая о чем-то другом.

Коноплянкин презрительно захихикал:

— Знычит, Лутошка, люби ты бох, у тебя толку нехватает. Видно бестолковый ты нащел девок-то... Толстущечку-то я тебе какую подобрал... Того гляди растопится на солнышке, а ты поступаешь с ней маломочно... Да на мои руки... Да я бы... Говорено же тебе, что бери прямо за зебры...

— Чай она не рыба, а человек, язык имеет, силу...

— Вот еще... черемониться с ними. От таких дум ты и есть такой маломочный.

Подали вагоны для выгрузки. Артель направилась к вагонам. Появился Карп Исаич.

— Сходи к вагонам приготовьте, — бочки будем выгружать, — крикнул он: — Стельный и Коноплянкин, подойдите ко мне!

— Стельный!..

— Коноплянкин!..

— Где вы?..

Во все стороны из артели понеслись выкрики:

— Карп Исаич к себе требует!

Стельный и Коноплянкин на рысях поспешили к Карпу Исаичу. Минут через десять наладили крутые сходни с земли в двери вагона и приступили к работе. Лутошка подкатил к сходням первую бочку. Это были свинцовые бочки с кислотой для аппретурной фабрики. Лутошка попробовал спустить бочку, но она так его потянула вниз, что он в один миг смекнул, что она у него вырвется и сбросит его самого со сходней. Напряжением всех сил он вернул ей прежнее положение и закричал Карпу Исаичу:

— Веревоч давай... На веревках надо спускать...

— Само скатится... Пусти ее, — крикнул Карп Исаич.

— Разобьется, — ответил Лутошка.

— Кантуй, говорят тебс, — осердился Карп Исаич.

Лутошка направил бочку и разжал руки. Бочка пушечным ядром слетела вниз. Сейчас же после него подкатили бочку Коноплянкин с Хнычкой и столкнули ее вниз. Она так же стремительно скатилась на землю и со всего размаху хряснула о первую бочку. За ней прогрохотала и хряснула третья, потом последовала четвертая... Пятую выкатил Лутошка и остановился на грани у сходней. Все видели, что он дрожал и поводил по сторонам обезумевшим



взором. Хнычка и Коноплянкин, стоявшие рядом с ним, напугались. И на самом деле этот ярко-юный, могуче сложенный, дрожащий, с блуждающим взором, парень был страшен.

Но он сдерживал себя.

— Карп Исаич, на веревках бы! — жалобно взмолился он: — А то ведь все погубим!

Карп Исаич осмотрелся вокруг и, убедившись, что ему никто не мешает, заорал на него, как кричал бывало в деревне, когда ему кто-нибудь противоречил:

— Кантуй, сволочь... Ударничать не хочешь. Охота тебе эту работу растянуть на неделю.

Лутошка сразу обмяк и автоматически без единой протестующей мысли в голове повиновался. Это был условный рефлекс, выработавшийся за многие годы батрачества у кулака, привычка беспрекословно повиноваться этому грозному окрику.

Он зажмурил глаза и отдернул руки. Повернувшись, он услышал за собой хряск. Это встала на свое место его бочка.

Подкатив к сходям третью бочку, Лутошка увидел лужу кислоты вокруг скопища бочек. Он как бы весь окостенел, и тяжело, как бывает только во сне, еле владея языком, прокричал с великой злобой Карпу Исаичу:

— Я теперь не маненький... Ты меня, гад, не проведешь: это — не ударничество, а вредительство. Вели на веревках, больше ни одной бочки не пущу!

В жизни Карпа Исаича это было неслыханное явление, он побелел весь и поднял над головой кулаки:

— Кантуй, тварь поганая, а не то я тебя в порошок сотру.

— Без веревок не пущу! Ты едак фабрику остановишь, — твердо брякнул Лутошка.

Карп Исаич подбежал к сходям.

— Коноплянкин, дай ему в переносье!

Выполняя точно приказ своего главка, Коноплянкин замахнулся по лицу, но Лутошка успел качнуть головой и он ударил ему по ключице. В тот же миг Коноплянкин получил от Лутошки удар в ухо и свалился в вагон. Хнычка ногой толкнул бочку, ударив в край, отчего бочка вильнула и упала с самого начала сходяней, резнувшись дном о конец шпалы. Тотчас же песок около бочки посыпался.

Лутошка приблизил свое лицо к лицу Хнычки и проскрипел зубами:

— Што-о... разбил?..

— Вот дерьма-то... чай не мое, — трусливо пробормотал Хнычка и попробовал удадьски усмехнуться, но вместо усмешки по лицу прошлась конвульсия.

Лутошка, не желая тратить силу правой руки на это ничтожество, ударил его в лицо растопыренной пятерней левой руки. Хнычка покачнулся и стукнулся о другого грузчика.

В это время Коноплянкин ударил Лутошку своей седелкой по затылку, успев снять ее со своих плеч. Лутошка устоял на ногах

и бросился на Коноплянкина, забившегося в толпу грузчиков. Лутошка ударил его сверху по голове, но тут же получил удар от Стельного по левой стороне лица. Лутошка точно обрадовался этому удару, имея теперь полное право обрушиться на ненавистного Стельного. Он плохо знал, что за человек Стельный, он видел в нем только пузо, которое отождествлял с брюхами буржуев на плакатах; он сверху, обоими кулаками ударил Стельного в живот. Стельный хрякнул и мягко свалился, как ватная кукла. Лутошку уже было несколько человек, толкаясь и мешая друг другу наносить прямые сокрушительные удары. Верткий Лутошка отпрянул и, собрав все силы, ринулся на эти противные ему рожи. Он бил по глазам, носам, зубам, бил под «дыханье», пинался. Противники не отставались в долгу, били его смертно, но он был верток, ловок, богатырски силен, к тому ж он взбешенно изливал в этой драке всю злобу, всю ненависть к рабству и убожеству своей прежней жизни. Мужиков, этих откормленных богатых мужиков, удивила его мощь. Они, расвирепев окончательно, приналегли, но и то не смогли его смять, а только градом ударов сбросили его на сходни. Лутошка упал и покотился по сходням. На земле к нему подскочил Карп Исаич и стал пинать его, метясь попасть между ногами. Лутошка попробовал вскочить, но кулак столкнул его на спину и вскочил ему на грудь топтать его. Лутошка мертвой хваткой обернул его ногу правой рукой, левой нажал выше и в секунду перекинул его через свою голову. В тот же момент он уже придавил его коленкой и хрипел:

— Вредитель... Раздавлю-ю...

— Спасайте! — взвыл Карп Исаич.

Глаза его закатились, лицо посерело и омертвело от страха, Лутошка с отвращением опустил кулак на его харю и поднялся. Но тут налетели на него выпрыгнувшие из вагона и принялись колошматить Лутошку. Впереди наступали на него Коноплянкин и Хнычка, чтобы отомстить и одновременно выслужиться перед Карпом Исаичем, но это была их ошибка. Они, слабосильные, не могли сбить Лутошку и только мешали другим здоровенным мужикам бить взбунтовавшегося батрака. Но Лутошка в свою очередь сделал ошибку; он не додумался отступить под прикрытием этих фигурок, несколькими ударами свалил их на землю и очутился под кулаками остальных здоровенных сектантов. В несколько минут они избили его до потери сознания. Лутошка стал падать. Удары поредели.

— Бе-ей! — иступленно крикнул Карп Исаич.

Лутошка вздоргнул: его пронизал страх смерти. Последняя вспышка сознания приказала ему вырваться и бежать, бежать... Он выпрямился, но на него тут же надели, чтобы свалить на землю и бить пинками. Перебросив через голову кое-кого из навалившихся ему на спину, он нечеловеческими усилиями принялся всех разбрасывать и бить под сердце. Некоторых он отбросил, двое свалились от ударов, другие отскочили, и Лутошка вырвался.

— Ну и здоров же гаденыш, — услышал он за своей спиной.



Отбежав метров на сто, Лутошка обернулся и прокричал:

— Вредители... Кулаки... Все, все расскажу... И завтра же вам: «ты меня видишь, а я тебя нет».

При этих словах Лутошка сложил крест-накрест по два пальца той и другой руки и приставил эту решетку к правому глазу. Карп Исаич деланно захохотал и с притворной беспечностью махнул рукой:

— Дуй... Рассказывай... Только помни, что если мы будем за решеткой, так тебе быть в могиле. Это уж не ходи к гадалке, будет сделано как пить дать в точности.

Лутошка хотел что-то сказать, но в этот миг увидел, что трое из артели по за вагонам, по за складам забегают, чтобы перенять его на пути и поймать, и вихрем пустился бежать в таком направлении, что попытка забегальщиков оказалась бесполезной.

Лутошка выбежал на улицу и, почувствовав здесь себя в безопасности, пошел шагом, еле переводя дух, по направлению к фабрике.

Только сейчас он почувствовал, что все его тело — сплошь одно больно избитое место. Ноги заплетались. Подбитые глаза видели плохо. В правом боку что-то кололо, будто туда забили гвоздь.

Юное весеннее солнце высушило на лице Лутошки кровь, смешанную с потом и грязью, превратив все это в подобие коры. В розовом половодии весеннего света дремали усталые от недавней апрельской слякоти и непогоды дома, заборы, деревья и тумбы. И, глядя на этот сладкий покой, на эту невинную дрему, Лутошке захотелось упасть на эту раннюю муравку, что выросла по канаве, разбросать свое тяжелое тело так, чтобы каждая жилочка отдыхала и поправлялась, и крепко спать, спать...

Сознание отказывалось бодрствовать, ноги подкашивались, избитая голова, казалось, вот-вот развалится на мелкие черепки и, если бы не злоба, кипевшая в груди, и не сознание какой-то забытой ответственности за все происшедшее, то он так бы и сделал: свернул бы на канаву, свалился бы на зелень и в тот же миг забылся.

— Нельзя... — мысленно кричал он на себя, чтобы окрепнуть, — а бочки то как же?... И за решетку их надо посадить. Ты меня видишь, я тебя нет... Пошлют комиссию, все оследствуют и их голубчиков — хап... А я лягу спать на целый день.. Нет, меня положат в больницу, и я буду спать две недели!

Сознание окончательно мутнело, голова свалилась на плечо, но Лутошка, мотаясь из стороны в сторону, все-таки двигался вперед.

Где-то далеко зарыдал духовой оркестр, но Лутошка, находясь на грани мрака, не в силах был определить, что это и откуда доносится. Ему мнилось, что это завывало взрытое кулаками, как гряда заступом, его собственное тело, не знающее, как дальше продолжать свои неотложные функции.

— Все-е болит. Скажу и спать, спать... Две недели, — говорил себе Лутошка, напрягая последние силы. Его пошатнуло и он

ударился плечом об афишную будку. Оттолкнув ее обеими руками, словно будка лезла на него драться, он сделал несколько шагов назад и воинственно оглядел, с кем имеет дело. На него глянула новенькая, только что повешенная афиша. В глаза бросились слова: «Лицо врага» и свирепая морда контрреволюционного человека.

— Лицо... врага... Правильно... — пробормотал Лутошка и больше ничего не мог придумать.

Это «правильно» было связано с представлением о Карпе Исаиче как враге, но эта мысль рассеялась, не успев оформиться, так как лицо Карпа Исаича наоборот было тихое, благообразное, масляное, как у обиженного лакея.

— Кино тут пойдет, а я буду спать, спать, — мелькнуло в голове Лутошки и он пожалел, что не увидит эту картину.

Оркестр уже несколько минут как перестал играть, Лутошка забыл об ощущении во всем своем существе, но зато теперь непереносно ломило голову, грудь и руки. На глаза ему попала кисть правой руки — вся в крови и ссадинах. Лутошка испуганно убрал ее в карман.

И вдруг из-за ближайшего угла на Лутошку хлынули звуки духового оркестра.

— Вы жертвою пали — проговорил он, уловив знакомый мотив, — кого-то понесли в могилу.

Вспомнив, что и его полчаса тому назад Карп Исаич грозил отправить в могилу, Лутошка ощутил неимоверную звериную жажду жить и почувствовал себя тверже.

— И про бочки, и про эту угрозу скажу все, все скажу, — решил он и пошел прямее.

Но похоронная процессия повернула из-за угла прямо на него. Итти сквозь эту волну людей он не посмел, свернул в сторону и сел у забора на канаву, решив кстати отдохнуть и посмотреть шествие.

Оркестр грянул односложный рыдающий мотив, так не гармонирующий с этим ликующим розовым половодьем весеннего солнца. Черная, стройная, но флегматичная лошадь, покрытая грязной белой сеткой, брела покойно и забавлялась методическим покачиванием головы. На катафалке стоял привязанный полотенцем красный гроб. Неразборчивое солнце сыпало лучами в уставившееся ввысь желтое лицо мертвеца. Позади два паренька несли на головах крышку гроба с единственным венком на ней с надписью из трех слов. В числе провожающих он узнал виденных на кружках и на собраниях комсомольцев и в их числе Катю Цихон и Силаева.

«Да это же Сорвачева понесли, — пронеслась догадка: — Это тот, который застрелился из ливольверта. Вот оно что такое случается на свете».

Позади всех ехал извозчик. В пролетке плакала, сгорбившись, старушка, поддерживаемая другой, менее старой женщиной.

Лутошка с великим трудом встал и пошел дальше. Чувствуя, что сонливость его в значительной мере спала, и желая окончательно овладеть собой, он пустился бежать. Показались фабричные во-



рота, в которые в эту минуту въезжал грузовик. Он свернул с дороги к воротам, но тут налетел на Лиду, которая возвращалась с работы.

— Лугонык, ты куда? — окликнула она его.

Лутошка остановился и не знал, что ответить. Лида подошла ближе. Сегодня она выглядела бледной, рыхлой и замкнутой, как вдова.

— Кто это тебя так разделал?.. Мордочка вся в крови, в синяках, руки в крови. С кем это ты расцарапался?.. Эх, дитяtko! Маленький... Подрался... Только пожаловаться некому.

Лутошке, не знающему ни материнских, ни женских ласк, казалось, что она не говорила, а ворковала над ним; в ее голосе слышалось теплое снисходительное и всепрощающее материнство.

Она вытащила малюсенький батистовый платок, нагнула его на пальцы, смочила своей слюной и стала вытирать кровь и грязь на его лице.

— С кем же это ты, неугомонный, подрался?

— С Коноплянкиным.

— Так неужели у него хватило силенок так разукрасить тебя— такого крепыша?

— Меня била вся артель...

— За что же?

— А я бочки предлагал из вагона на веревках спускать.

— А они что?

— А они так сбрасывали.

— Кто же их так научил?

— Карп Исаич.

Лида поняла весь смысл этого события и умолкла.

Рука ее с платочком, так заботливо прогуливавшаяся по лицу, сделалась вдруг вялой и наконец совсем скрылась.

— Так ты теперь идешь в больницу зарегистрировать свои побои и подать в суд на артель? — спросила она, еле сдерживая неприязнь.

— Нет, я бегу про бочки сказать... бочки ведь почти все разбиты.

Она вздрогнула, остервенела, но сдержала себя и незаметным усилием безразлично улыбнулась:

— Дурачок-то какой, батюшки... Подумал бы ты, кто тебя будет слушать! А потом все уже кончили службу и давно ушли домой. Идем обедать.

Лутошка не трогался с места ни в ту, ни в другую сторону. Повиноваться не хотелось, он выдержал бой с целой артелью из-за народного достоинства и вдруг подходит к нему эта красивая толстуха, говорит, что все это неважно и ненужно, и уходит за собой.

— Не пойду! — отрезал Лутошка.

— Но я же тебе сказала, что занятия кончены и некуда тебе идти.

Она подошла к нему, взяла под руку, прижалась к нему своим большим телом идохнуло на ухо жарко:

— Неужели ты меня не любишь?... Ты, мордастый, совсем не умеешь обращаться с девушками. Сколько раз я с тобой заигрывала и ты все еще не можешь расчувствоваться и влюбиться. Идем и потолкуем обо всем — о любви, о бочках и о нашем будущем.

— Ты очень горячий и неразумный, Лутона, — говорила она, идя под руку с Лутошкой и прижимаясь к нему: — Ты ведь знаешь, что теперь заставляют ударничать, чтобы скорее, как можно скорее сделать. Ну, вот артель и ударничает...

— Да вить бочки-то бьются, текут, — вырвалось у Лутошки.

— Подумаешь, какая важность — бочка разбилась. Это по закону списывается безо всяких разговоров. Без этого нельзя. Ты не прикажешь ли артели сносить твои бочки на руках, как иконы? — засмеялась она: — Ну, ты и чудачок, как я посмотрю. Ты бы пришел, рассказал, что из-за бочек дрался и бежал, так на тебя бы только посмеялись и попросили бы уйти.

— Так вить ежели так ударничать, так все достояние разобьют, — мрачно проговорил Лутошка.

— Ничего не будет, — уверенно заявила Лида: — Не плачь за чужое добро. Больше о себе заботься. Знаешь что, Лутошечка, — умасливала она его: — Идем сегодня вечером в кино...

— Вво... — обрадовался Лутошка: — В самый раз угадала: очень мне в кино охота. Идем.

Он занес руку на выступ бедра и притиснул ее к себе. Она улыбочиво глянула ему в лицо:

— Ты, значит, любишь меня?!

— Я влюбился еще когда тебя со станции вез.

Дома она заставила его умыться, сама принесла ему есть. После обеда Лутошка свалился на койку.

— Спи, — сказала Лида: — В кино я тебя разбуду.

Сквозь сон Лутошка слышал, что пришел Карп Исаич, стал кричать, ругаться и рвался в комнату Лутошки, но Лида его не пустила. Карп Исаич собирался бить Лутошку, выгнать из дому, но Лида возмутилась этим методом обращения с парнем и принялась доказывать отцу, что этим его только озлобишь и окончательно восстановишь против себя. Надо успокоить его, задобрить, обласкать, чтобы он стал благодарным и послушным, всячески отвлекать его от комсомольского влияния, а потом под очень благоприятным предлогом вышвырнуть из дому, но непременно в какой-нибудь глухой город, а то он становится здесь совершенно опасным для их дела. Карп Исаич и на этот раз сдал перед неопровержимыми доводами дочери и разрешил ей действовать по-своему.

Разговор об этом происходил в другой комнате, чтобы не слышать Лутошка, но если бы они разговаривали и у двери его каморки, до него все равно ничего бы не дошло, потому что в это время он спал уже мертвецки. Вечером он встал сам; память подсказала отдохнувшему сознанию, что время итти в кино.

Избитые места теперь ломило еще больше, но он взял себя в руки, еще раз умылся, посмотрелся в зеркало, помял синяки и, успокоив себя тем, что вечером их не видно, да к тому же можно



нахлобучить кепку, постучался к Лиде, которая незамедлительно разрешила ему войти.

— Пора итти, — сказал он входя: — Сегодня пойдет интересное кино под названием «Лицо врага».

Лида капризно ужаснулась, красиво закрыв рукой левую часть лица:

— Ни в каком случае мы не пойдем на эту картину. Все эти враги, борьбы надоели до тошноты. Мы пойдем в город и будем смотреть там более интересную картину.

Она пригласила его жестом сесть рядом с ней на диван и приникла к его плечу. Лутошка обхатил ее обеими руками и застыл, обдумывая, что предпринять дальше.

— Лутошечка, а ведь я могла бы за тебя выйти замуж, если бы ты был ученый, — прошептала она таинственно.

— А так нельзя?

— Так мы характерами не сойдемся. Надо быть обоим учеными. А ведь это можно сделать. Вот сейчас проводится прием на сельскохозяйственный рабфак в городе Майске — сто десять верст отсюда. Выучишься, — мы и поженимся.

«Восемь лет надо учиться... Кто ей поверит, что такая дебелая избалованная девица сго дождется. Форменная сказка. Играет как с маленьким. Или считает совсем глупым. Если хочет, чтобы он уехал от них, то так бы прямо и сказала. Думает, что с дурачком разговаривает». Все это он хотел высказать ей, но тут пришел инженер Левенда и вызвал ее для разговоров в другую комнату. Она явно переборщила, и разговором о женитьбе и рабфаке посеяла в душе Лутошки недоверие.

С этого вся ее сегодняшняя ласковость показалась ему приторной, неискренней, и с этого чувства, как спелый плод, упал, встревожив все его существо, вывод:

— Да ведь это она своей лаской папашу своего покрывает, не хочет допустить, чтобы я рассказал о вредительстве.

Лутошка подмигнул в пространство.

— Секретно все разговаривают. Послушать интересно, — и он приник ухом к стенке: — Только ведь опять учеными словами будут разговаривать, сказал он себе: ничего не разберешь.

Но послушать ему не удалось. Они разговаривали шепотом. Лутошка опять подмигнул:

— Шепчутся... Видно не хотят, чтобы до меня слова доходили.

Дождаясь Лиды, он стал рассматривать поселок фотографий над диваном.

— Да что вы ко мне пристали со своим гонораром? — вскрикнула Лида возмущенно за стеной.

— Тиш-ше, чорт вас побери!.. Нынче стены слышат, — прошипел Левенда.

И опять все смолкло, только первую минуту слышался быстрый шопот.

— Это он наверно к ней женихом навязывается, сватает, — усмехнулся Лутошка. — Гонорар — это видно жениху фамилие та-

кое. У всех ихних гостей фамилии какие-то чудные — Левенда, Шухт, Гонорар.

Вошла Лида красная, взволнованная.

— В кино итти нам сегодня не придется, — я занята. Тебе нужен покой. Иди, ложись. Вот можешь почитать, — очень замечательный роман «Дорога к телу». Не оторвешься. Я его читала два раза.

Лутошка машинально взял книжку и недовольный пошел в свою каморку. Он лег на свою койку и стал читать роман. Это была пошлая любовная история с сальными местами. Он читал больше получаса и возмущался неправдоподобностью изображенной тут жизни, похотливостью и слюняйством героев.

«Ирина тихонько отложила книгу и выскользнула в сад: на дорожке показался Муравьевский. Она встретила его долгим взглядом и шепнула: «Я вся ваша»... Он сжал ей руку и вошел в дом».

Лутошка плюнул на страницу и отбросил книгу. Этих людей он считал за дурачков и совершенно не понимал их любви.

— Это уж только самая последняя баба скажет: «я вся ваша» — думал он, — а за хорошей-то походишь, да и как еще... Ну, а если уж она ему так сказала и он ее любит, так чай должен человек обрадоваться, обнять ее, поцеловать, наговорить ласковых слов, а он вместо этого сжал ей руку и вошел в дом. Дурак. Спизатель-то этой книжки видать какой-то полоумный.

В зале заиграл патефон, раздался хохот нескольких мужчин.

— Пировать начали, — констатировал Лутошка: — Сегодня наверно и Гонорар пришел. Уж и фамильце. Чуть-чуть не самовар. И будет она теперь Лида Карповна Гонорар. Стерва... тоже со мной заигрывает, а сама замуж выходит. Ну, пусть теперь и ходит с этим фамильем.

«Фамилие» ему определенно не нравилось и он даже усомнился, есть ли в природе такие фамилии. Может это какое-нибудь другое слово. Помнится, что-то схожее мелькнуло однажды перед его глазами в словаре. Он скорее схватился за пиджачишко и вытащил из полы словарь. Книжка была похожа на мочалу: верхние листки загрязнились и истерлись, на ней виднелись десятки перегибов; между листками набилась махорка, хлебные крошки, нитки. Вытряхнув из нее все, Лутошка развернул словарь на букву «Г» и быстро нашел это слово.

— Гонорар, — прочитал он, — почетная плата или просто вознаграждение.

— Вот так здорово. Гонорар — это, значит, деньги, а я то думал... Тетеря, — обругал себя Лутошка.

За что же это ей платили?.. Ведь заработная плата, которую получает и он, Лутошка, не называется гонораром, следовательно, это ей заплатили за какую-то особую работу. И тут ему припомнилось, что это же слово, он как будто слышал в коридоре, когда ему случайно пришлось подслушать разговор Левенды с Лидой. Тогда еще они несколько раз упоминали в своем разговоре имя Сорвачева. Это они, значит, разговаривали о его красителе и сговаривались



все дело ему испортить. Это она, Лидка, значит, взялась за гонорар подложить чего-то в сорвачевский краситель. Это, значит, они довели Сорвачева до самоубийства. Вижу я теперь, кто они... Папаша бсчки разбивает, дочка вновь открытые краски портит. Вся наша стройка им нож в горло. Оттого тогда Карп Исаич и продукты с автомобиля выгружать отказался. Понятно.

---

Лутошка метался по каморке, не зная, что теперь делать. Остаться здесь было немислимо. А на улице ночь. О сне и думать не хотелось. Куда двинуться? Он решил сейчас же немедленно уйти. Вытащил из-под койки сундучок, запихал туда все свои пожитки и, приоткрыв дверь, выглянул в коридор узнать, не помешает ли кто ему уйти. Выход был свободен и он, взяв сундучок, двинулся вон из дома. «Если на выходе встретится Карп Исаич и будет останавливать, сшибу его и убегу», — говорил внутри его кто-то сильный и решительный.

Из зала слышался тихий говорок, сопровождавшийся взрывами хохота. Очевидно кто-то из них рассказывал забористые анекдоты. Лутошка тихо отпер дверь и осторожно вышел на улицу.

Тихая весенняя прохладная ночь встретила его, как салютом, жизнерадостным, гортанным девичьим смехом, доносившимся до его слуха с улиц, переулков и скверов. Девичий смех навеял ему милый, ласковый и суровый образ Кати Цихон.

Лутошке непреодолимо захотелось рассказать ей все и услышать ее суждения по этому делу. Кстати у нее можно будет и переночевать. При этой мысли он даже не испытал несмелости, представив себе, что она устроит его на ночлег у себя со всяческим вниманием, сделав все это так, что ни тот, ни другой из них не испытает ни единой капли неловкости и смущения. Остановившись на этом решении, он взвалил сундучок на спину и пошел быстрее по направлению к квартирке Кати Цихон. В знакомом окне света не было, но Лутошка, предположив, что Катя спит, постучался. На стук откликнулась хозяйка и на спрос ответила, что квартирантки дома нет.

Что делать?.. Он приуныл и побрел по переулку неведомо куда, чувствуя себя затерянным и слабым. Сундук он теперь тащил за ручку, замок стучал о стенку сундучка, раздражая его владельца. Лутошка бросил сундучок на землю и остановился обдуматься.

В садике за забором шевелилась молодая листва, мимо прошла в обнимку парочка. Влюбленные никуда не спешили, наслаждаясь тишиной и свежестью ночи. Лутошка успокоился и увидел, что он совершенно беспричинно приуныл.

— Вон Степан Халтурин, — подумал Лутошка, — царя взрывал, динамит подкладывал — ничего не боялся, никогда не унывал, а я — шляпа, с одним кулаком справиться не могу... Да я его лярву завтра же скручу.

Лутошка приставил сундучок к забору и сел на него, решив скоротать тут ночь.

— Вот накурюсь и задремлю, — думал он, набивая удвоенного размера козью ногу махрой.

Покуривая и любуясь цветением огонька сигарки в темноте, Лутошка подумал:

— А может она пришла и у нее в окне огонек.

Лутошка взял сундучек и побежал посмотреть. Окно попрежнему темнело... Чем там сидеть у забора, сесть здесь и смотреть на окно — может огонек-то и появится, — решил он.

Не прошло и полчаса, как окно заветной комнатки осветилось.

Лутошка обрадовался и вскочил:

— Пришла...

Он обхватил рукой сундучок, побежал. Минут через пять Катя открывала ему дверь, не удивляясь, несмотря на такой поздний час, появлению своего друга, так как давно уже разучилась лоразаться, даже не в таких случаях.

— С квартирной хозяйкой что ли поругался? — спросила она спокойно, когда Лутошка сел на стул, поставив сундучок у двери.

— От своего хозяина я, Катя, убежал, — объяснил Лутошка. — Я сегодня все преступление Карпа Исача и его дочки увидел, и вот сейчас мне охота рассказать тебе всю мою жизнь и кто они есть такие. Враги они наши, Катя... Вот...

— Рассказывай. Я слушаю.

— А ты бы, Катя, на бумаге все это записала.

— А для чего это?

— Дела-те, Катя, очень большие. Властям ведь в них разбираться придется.



# Поочье

## 1

...Когда это было, — кто ж его знает, может где в истории и записано, а может и нет. Старики передают, что не меньше как 200 лет тому прошло, как пришли к царю Алексею Михальчу два брата Табашовых — тульские купцы. Дознались откуда-то они, что под Касимовом руда мол есть, которую на железо можно переделывать и всякие нужные вещи ковать. И чтоб разрешил им царь взять сто солдат, а они на Муромской дороге разбой уничтожат и вольных людей под цареву руку покорят. На месте том железные заводы построят...

Купцы, видать, опытные были: где надо, взятку дали, так что царь выдал им сто солдат. И стали Табашовы владеть и править Поочьем.

В селитбище, где когда-то разбойники жили, купцы барские хоромы выстроили и начали завод сооружать. Затем они позвали из Тулы мастеров опытных, хотели, чтоб заводы первейшие были.

— Пусть заведение здесь будет, — сказали Табашовы — и название ему — «Сын Тулы».

Так возникло село Сынтул.

Выстроенный завод задымил доменными печами, пудинговыми, застучали в кузнях молотки...

Вверх по Оке, к Рязани, потянулись баржи с железным товаром.

Кроме завода, выстроили Табашовы в Сынтуле церковь. Попы приехали. Словом, на месте разбойного селитбища, выросло работорное село, похожее на сотни подобных сел.

На «Горном дворе» были главные корпуса, плавилась руда. Железо выбивалось в болванки, а уж болванки обдывались в кузнях.

Кузни были маленькие, на одну наковальню, и стояли они горбатой толпой поодаль от барского дома, за горным двором.

Не больше 20 лет проработала домна. Когда умерли старики Табашовы, наследники их закрыли «Горный двор».

К тому времени слава о сынтульских кузнецах по всей округе пошла. Да и как же? — Землей в Сынтуле не занимались, и от отца к сыну шло искусство железной выделки...

Вскоре ненаселенные места эти стали заселяться. Выросли крепостные усадьбы, из других губерний народ пригнали, стали распа-

хивать поокские земли. А сынтульчане ковали сошники, палицы, втулки, поддоски, бороний зуб и еще много всяких вещей, которые нужны в крестьянстве.

Но не одними палицами и сошниками славились сынтульчане. Умели они делать и кое-что другое.

Лет пожалуй сорок тому будет, как жил в Сынтуле кузнец Сидор Старатонов...

Высокий, плечистый, курчавые смолевые волосы на высокий лоб спадали. Брови, как крылья птичьи, распахнуты, — часто бабы засматривались на Сидора, хоть он и неохоч до них был.

Так вот этот Сидор, скажем, кует сошник, а принесут серыгч золотую запаять, или колечко оправить, он только руки отряхнет и принимается за работу. Да как делал-то? — Любому городскому мастеру впору так сделать... Ружья разные, замки с секретами, или другие механизмы сидоровской работы дорого ценились, не то что в Поочье, а и в Москве...

Только пил Сидор мертвую. Запоем.

И ведь что? Трезвый мухи не обидит, перед женой слово грубое боится сказать, а как выпил, — пошла писать губерния; что под руку попадет, тем и на жену...

Только сынишку Митьку любил крепко и пуще глаза берег. Какой хошь пьяный будь, а парнишку пальцем не тронет. Рос Митька разбитным бойким мальчишкой. Бывало, выйдет на улицу, сядет на завалинку и нахмурится.

— Что приземил, Митюшка? — спросят соседи.

— Да вот жениться надо, — отвечает Митя самым серьезным тоном.

А и парнишка-то годков всего восьми... Соседям, конечно, — потеха.

— Чего же ты с женой то будешь делать?

— Да чего, а ты не знаешь штоль, чево делают-то?

— Да ей богу не знаю, — подтрунивают взрослые...

— Не знаешь, — презрительно отвечает Митя.

И надо же было случиться такому, что Митька чуть было на тот свет не отправился, а у Старатоновых вся жизнь изнанкой переверотилась.

Дело в том, что Петра Левин, белясевский мужик, после воли разжился деньженками (болтали тогда, что купца пристукнул, — да ведь мало ли что болтают!) и купил землицы, — выстроился да и зажил баринком... Лошадки у Петры водились такие, что и помещикам только завидовать на них...

А в этих краях о тройцу катанье бывает. Вот Петра и пылил на своих рысаках по Сынтулу, а Митюшка Старатонов в это время на дороге с ребятами играл. И как он увернулся из-под лошади, это — прямо чудо...

Когда подбежал Сидор, так лица на мужике не было. Аж побелел весь.



— Что же ты, ирод, живых людей то давишь! — крикнул он Петре.

Тот на него: «как смеешь кричать», — слово за слово, и пошло. Только ведь у Петры — деньги, а с деньгами сам чорт не брат.

Вытянул Петра кнутом кузнеца да и ускакал...

А на ильин день сгорел левинский хутор, как свечка...

Разузналось, что не спроста это случилось, а был тут поджог. Сидора Старатонова сослали в Сибирь на всю жизнь, так и помер он там вдали от родной стороны.

Хлебнула горя Старатонова баба. И Митьке без батьки расти не сладко было...

...Шли годы. Владельцы сынтульские разорились на-тло, Левин новый дом сгрехал. И Митька из парнишки в крепкого статного мужика выправился, — кузнецом заправским стал. Только кличку новую приобрел: добер народ на прозвища. Вот и Митрий, с благословения мирского, потерял свою настоящую фамилию и в честь батьки получил прозвище «Сибиряк»...

Мастерство ему видно в крови передал Сидор: еще будучи совсем молодым, он считался не плохим кузнецом. Ему охотнее, чем другим, давали заказы; а когда в Поочье стали появляться плуги, то вряд ли кто мог лучше Митрия выковать ножи или отвалы...

А в общем, он не особенно выделялся из сынтульчан, — так же «гулял», так же кормил вшей в окопах на Карпатах, подыхал «за веру, царя и отечество»...

К тому времени, когда в Поочье зашумела революция, у Митрия уже были детишки, но вернувшись с германского фронта и пробыв дома только три месяца, он уехал в Москву и там поступил в Красную гвардию...

Пометался он в эти годы. Брал Казань, бил Колчака, били его самого под Саратовом, гнал атамана с Кубани, ходил под Варшаву...

Домой о нем иногда приходили вести. Знали, что жив. Потом вестей не было опять. Думали, — пропал...

Когда Митрий вернулся домой, то не узнал семьи: старший сын Федька уже подрос и был заправским хозяином — кормильцем...

— Ишь какой вымахал, пока батька-то воевал, — с удивлением и затаенной гордостью сказал Митрий, глядя на сына...

— Ты, батя, вот чего, — заявил Федька. — Я в комсомол хочу записаться.

— Эх! мать честная, вон еще как сынок-то откальвает. Ну, молодец баба, что такого мне вырастила, право слово, молодец... Валяй, Федя, батька за это дело пять лет с генералами воевал...

## 2

Ни Сынтула, ни Белясева не узнать... Да и весь быт Поочья меняется.

В прошлом году в Сынтуле была организована машино-тракторная станция. Почему в Сынтуле? — Да где же найдешь лучших мастеров, умеющих понимать машину, так, как, скажем, мужик понимает свою лошадь?...

Многие десятки лет пустовавший «Горный двор» вновь ожил: полуразрушенные временем стены подновили, отремонтировали, и там-то стали ремонтно-тракторные мастерские и гараж...

И сынтульчане, снабжавшие округу допотопными палицами и сошниками, стали вожатыми машин. Кузнецы, копошившиеся в маленьких закоптелых кузнях, объединились в ремонтные бригады. Они, стоявшие поодаль от «земли», двинулись на поля.

Митрий Сибиряк работал бригадиром на ремонте тракторов. Работник он был золотой, только иногда крепко заливал за ворот. Тогда он бросал работу и «гулял»...

— Это у меня в голову ударило — объяснял он свое поведение...

И вот такой «удар» случился с ним как раз в тот день, когда хуторянин Егор левенский приехал в Сынтул к кузнецу Михайле Крупнову обновить отвалы у плужка.

Михайло был собственником захудалой, покосившейся набекрень кузницы и бесчисленного количества долгов. Он заискивал перед заказчиком, надеясь получить от него пудишко мучки, и Егор, в свою очередь, чувствовал себя хозяином...

Он договорился о том, что отвалы должны быть сделаны не из катаного железа, а из кованого; сам возился в хламе, обрубках, обломках, «запасенных» кузнецом и выбрал железо потверже... Михайло все ждал, что вот-вот Егор пойдет к возу и вынет мешок: «дескать, вот тебе, Миша»... Но Егор, видимо, и не думал этого делать. Поэтому у кузнеца копилось какое-то чувство злобы на свою захудалую «жистянку», жалость к себе, но высказать прямо он не хотел и надсадно матерился без причин, без оснований. Окончательно условившись относительно отвалов, Егор стал собираться домой, чтоб поспеть к обеду...

Уже садясь в сани он спросил у Михайлы:

— Не слышать, как на «Горном-то дворе»?

— Живут... На «Горном дворе» живут — не то со злобой, не то с завистью ответил кузнец. — Им что не жить? — Сыты, пьяны и нос в табаке. Жалованье получают...

— Ай пьют? — опять любопытствовал Егор.

— Дык вон нынче Митька Сибиряк с утра ковырялся.

— Сам Сибиряк? Право?

— С утра...

— Н-нда... Ну, прощай покаместь... На благовещенье заеду за отвалами-то...

— Уж будьте в надеже...

Егор хлестнул лошадь и затрусил вдоль улицы.

На самой плотине ему попался Митрий Сибиряк. Шел он пьяным-пьяно, и Егор подумал: «Ишь, ты, до чего вино человека доводит... Хоша что там... Этот с роду пьяница»...



Буланая лошаденка ступала исподовольки, неторопко, да Егор и не понукал ее... По привычке, хозяйственно оглядывая тысячу раз виденную дорогу, он думал о доме, о колесах, которые надо бы ошиновать. «Задние-то пожалуй, не стоит, — мысленно рассуждал он: передок, тот обязательно надо, а весь стан не к чему... Задние, почти еще новые, а ошинуют мне в Сынтуле за долг»...

Снег под полозьями саней уже маслился. Дорога потемнела и выбоины стали глубже. Березы, набухавшие соком, прозрачно-бураватой стеной подступали с боков и дышали той особенной еще уловимой свежестью, которая бывает только ранней весной...

Миновав березовую рощу, Егор выехал на взгорье и тут открылась Колпь, немудрящая реченка, петлявшая в чащобе тальника и вербняка... Дальше она выпрямлялась и впадала в озеро.

С горы было видно и Оку, выгнутую в этом месте подковой. Между Окой и Колпью лежал клин порожней земли. Земля эта, чорт знает, с каких пор пустовала. Говорили, что она не удобна, не родит, что обделывать ее и леший не возьмется... Но все это были пустые разговоры. На самом же деле земля была богатая. Ежегодно заливаемая водой она оставляла на себе слой чужеского ила и стала упитанной, жирной и, кажись, приложи к ней, как следует, руки, — разродится она прекрасными овсами...

Однако, несмотря на то, что примыкала она к Белясевскому полю и омежевалась с ним небольшой ложбинкой, мужики не трогали ее, ковыряясь на дедовских истощенных полосах. И только в этом году Поречье, — так запросто звали этот пустующий клин — было включено в план расширения посевных площадей Белясевского колхоза. Правда, среди колхозников были такие, которые возражали против этого, говорили о том, что «дай бог с тем, что есть управиться», но сынтульская МТС, находившаяся в одиннадцати километрах, обещала двинуть на целину тракторы, и судьба Поречья была решена...

Почти около самого Белясева Егора нагнал знакомый мужик белясевский колхозник — Степан Башкин. Степан только прошлой осенью вступил в колхоз; был он мужик сомнительный и до поры все побаивался, как бы чего не вышло... Но ковыряться в одиночку тоже не мед, и он решил вступить... Разговорились. А о чем говорят мужики, когда на носу весна?

— Да... Вот мое дело, — наставительно говорил Егор: — Я не какой-нибудь класс... Не-е, я — самый обнаковенный крестьянин! Сам своими трудами. Сколько бог даст...

— Что говорить! — соглашался Башкин.

— И, обратно, взять вас, — у вас артелька... Не в пример сподручней. Как-никак — сила... Но промежду прочим сила связанная. Слыхал, — целину запахать хотите. А ежели не осилите?..

— На тракторы надежа...

— На тракторы? А у кого они? — У сынтульских. Человек ты, Степа, не глупый, сам понимаешь, что за народ в Сынтуле. Им на-

ше раденье над землицей в новинку. Они не понимают мужика. Легкий народ. Они—что выработал, то и пропил. У них нет того, чтобы в дом нести...

— Это верно, — со вздохом опять соглашался Степан.

— Ну вот. Надеемся на тракторы-то, а они, глядишь, и тово... Не могут.. Мужику весна такое время, что тут часом дорожить надо, а сынтульские этого не понимают, нет у них к тому привычки.

— Дык ведь договор на то есть...

— Все это я отлично понимаю... А что возьмешь с них? Что с них возьмешь?— рубаху? Договор, Степа, тогда хорош, когда под договором-то средства, а ежели под ним рубаха рваная... Я вот надясь ездил тоже по делу в Сынтул-то, — пьет. Без просыпу пьет Никита Сибиряк... И вся кампания, прямо говорить, в мастерской... Как же тут можно? А он пьет, и нечего не поделаешь. Род у них такой... Легкие люди... А мужичку Степа сейчас это ни к чему... Мужичек, ежели он хозяин, в смысл войти должен...

— Так, Егор Феддыч, нам-то он должен справиться дело?

— Все это так. Правильны твои слова. Ну только ежели не управят? Так и так, мол, — прорыв, соревнование, а землица-то лежит себе... Лежит матушка. А обратно вы... не выполняете планы сева? Нет. Значит вас клеймить надо... А что от этого?... От скандалов, Степа, не уйдешь. Где бы работать да работать, а у вас скандалы... Хорошо это?... Вот что, Степа, плохо-то...

Степан смотрел на домишки, раскинувшиеся по косогору. Были они бедны и неказисты. По задам тянулись подбитые прясла и на огородах из-под снега чернела прошлогодняя ботва и чернобылье.

На краю деревни, на выезде, горбатился большой общественной сарай, за ним поблескивала новым срубом школа. Вниз к Колпе тянулась дорога, ясно выделявшаяся на фоне снега...

— Может, честь-честью обойдется, Егор Феддыч...

— Дай-то бог... Только думаю обыграют вас сынтульские... Народ ненадежный. Они ко всему с хитростью подходят, а мужик, Степа, прост, — мужика наскрость видать...

Прикидывал Степан в голове егоровы речи и выходило, как будто правильно. Оно верно, что и Егору верить много нельзя, а все-таки чорт его знает...

Возле школы мужики разошлись: Степан Башкин зашагал в улицу, а Егор свернул по загуменной дороге к себе на хутор...

Жил Егор не то, чтоб уже очень крепко, но безбедно. Левенский хутор, стоявший от Беясева версты за три, выгодно отличался от беясевской рухляди крепкими постройками под железом, яблонным садом и прибранными угожьями... И всякий раз, подъезжая к нему, Егор внутренне радовался тому, что все это — его... что здесь он — полный хозяин, и над этим крепким домом, и над породистым скотом, и над людьми, жившими в Левене.

Когда въехал Егор во двор, на крыльцо выбежал мальчишка лет одиннадцати, с лица похожий на Егора, — такие же, чуть с



зеленцой, кошачьи глаза и широкий нос... Несмотря на свой мальчишеский возраст, он был широк и крижист...

— Подь в избу, папань... Я уберу лошадь-то — крикнул он, сбегая с широкого крыльца.

— Мотри, из клетки подбрось сена-то ей, — приказал Егор:— ометного не давай...

— Знаю...

В избе было чисто прибрано. Несмотря на то, что избу мыли еще к рождеству, она все же выглядела уютно и весело. Катя, племянница Егора, красивая и стройная девушка лет восемнадцати, собиралась в Беясево к подругам.

— Шлындаешь все, — неодобрительно сказал Егор.

— Ай, уж и не погулять? Я, чай, ничего, — отозвалась девушка.

— Ничего... Звонят вон по всей деревне, — за Катькой левенской, слышь, Митьки Сибиряка парень бегаёт...

Катя вспыхнула и отвернулась. Егор видел, как шея ее и уши наливались краской и еще сердитей добавил:

— Ты девка гулять-то гуляй, да мотри не нагуляй чего. Хушь ты и сирота, а Федька тебе не под пару, так и на носу заруби.

— Что ты, дяденька? Мало ли чего болтают...

— Ну ладно, ладно, — распелась... Побольше молчи, да помни, что говорю...

### 3

С каждым днем все заметней чернела дорога. Лед на Колпе поседел и на окраинах выступила вода. Дули южные, теплые ветры. В сумерках было слышно, как перешептываются эни с березовой рощей...

В солнечные дни во дворах копошились куры, коровы лияли и тяжело чесались о косяки. Были они тощи и грязны от зимней стоянки по закутам. На солнцепеке, в навозе копошились воробьи, бестолково чирикая перелетая с места на место. Со дня на день ждали грачей. На школьном крыльце, подобно воробьям, суетливо толкались сероголовые ребятишки и звон их голосов далеко был слышен по деревне.

Древние, тугоухие старики покидали насиженные кирпичи печурок и выползали на двор. Подслеповатыми слезящими глазами ощупывали плужки, бороны, заходили в загородку к лошади, сосредоточенно оглядывали хребтину, тыкали заскорузлыми пальцами в лошадиный пах, подбрасывали душистого пойменного сена...

Но со многих дворов, еще прошлой осенью мужики увели лошадей на колхозный общественный двор. И глядя на пустующую загородку, старичье натужно вздыхало, ослабленно опускалось на долбленные колоды и думало свою думу.

Было им тяжко это... Не потому, что в колхозе плохое житье. Нет! Да и что им до житья, если осталось его года два-три, отси-

лы — пять. Молодым виднее: им жить. Но вот сколько встречено и провожено весен со своим конем... Сколько длинных зимних ночей передумано о своем коне. У многих, да почти у всех, конь был мечтой, которая осуществлялась только после долгих лет упорного труда, униженного батрачества по чужим дворам, недоедания, нищеты...

Вечером, когда с работы приходили мужики, деды всматривались в их лица и тревожно выспрашивали:

— Как там дела-то?..

— Воюем, — отзывался сын, хрустя поджаренными корками черного хлеба на крепких зубах: — Воюем, тятя, на Поречье чистое наступление готовим... Чего ему попусту лежать...

— Хватит ли силов-то?.. Лошадь-то выдюжит ли?

— А чего же?.. К тому же Митрий Сидоров сынтульской трактор дает.

— Не привышно с трактором-то... Пусть бы уж выгон там, в Поречье-то.

— Ну! выгон... Выгону у нас под Ломакином сколько хошь... Ничего, чай, осилим...

Иногда шли старики на колхозную конюшню посмотреть, как там оно. Заискивающие улыбались конюхам:

— Де тута наша-то?

Лексей Задоров, молодежавый русый мужик, состоявший в конюхах, хитро подмигивал в сторону и разыгрывал:

— Какая, дед, ваша?

— Да, чалая-то, ай забыл прокурат?

— Чалая?.. Нету тут вашей, дед... Тут теперь все мои...

— Полно ты, зубоскал... Заездили небось лошадь-то...

— Ты, дед, не в свои дела не мельтешись...

— Как же это?.. Лошадь-та наша, ай нет?..

— Колхозная теперь...

— Ну, ладнать, Лексей, покажи ты мне ее колхозную...

— Валяй, смотри, дед, — сдавался конюх. — Третье с праву стойла...

Входили в стойло.

Лошадь спокойно косила умным глазом на посетителя, а он поглядывал и ощупывал ее... «Справились. На колхозном корму, да за уходом получше выгладит... Что грех таить — справилась», — удовлетворенно думал дед. Но лошадь тянулась мокрыми парными губами не к нему, а к конюху, и дед неприметно, но страстно ревновал...

В правлении колхоза, в избе председателя — Николая Славнова, прозванного Долгоспинным, рождалось то новое, что сколачивало мужиков в плотный коллектив, переделывало застоявшуюся обыденщину. Это новое забрасывало недоверие в душу стариков, но и разбивало это недоверие уверенно и метко.

Разбивало хлебом, которого вполне хватит до нова, справными лошадьми, во-время отремонтированным инвентарем. По ве-



черам на этом дворе собирались колхозники, чтобы определить завтрашний день, разбить его на часы, на минуты, на задания бригад. Кажется, ну что тут такого? — Пойдут завтра навоз возить, или сортировать и протравливать семена, или чинить сбрую — все это, конечно, делалось и раньше, но главное состояло в том, что чинили не свою сбрую, а нашу, что возили навоз не на свою полосу, а на общее поле.

Из-под ног уходила полоска, омежеванная чернобыльем, политая потом отцов и дедов, зато крепла под ногами земля. Это-то и наступало, и шло со всех сторон... Но шло с натугой, упрямясь на подъемах... Шла весна. Дули теплые южные ветры. Но быстрее ветров пошли по деревне слухи. Бабы разнесли их от колодцев по избам, мужики выносили снова на улицу, в бригады...

Было такое время, когда слухи эти казались особенно страшными и пугали. Они порождали неуверенность и сомнения. На печках крихтели старики, вспоминая были и небылицы про сынтульских.

— А что как подведут?

— Тут на дядю надеяться не приходится...

— Попали мы мужики...

Кое-кто старался урезонить, объяснить, в чем дело, но им возражали:

— Так, милый мой, время-то, время-то какое!

— Какое?..

— Весна...

— Весна, граждане...

Чаще ходили на конюшню, оглядывали низкорослых мохнатых лошадемок, тяжело вздыхали.

Иногда грудились на юру, над Колпью, откуда всегда виднее было Сынтул; нахмурившись смотрели на шапки сынтульских вестел, на колокольню с ярко блестящим крестом и молчали...

Оглядывали Поречье, стряхивающее с себя снежный покров...

Кое-кто затаенно радовался. Приходили с левенского хутора, ахали, сочувствовали... Это еще больше раздражало колхозников...

Правление, взявшееся за выяснение вопроса, указало, что в сынтульской МТС не хватает запасных частей для ремонта машин, а когда они будут, неизвестно, — зависит от завода.

— Вот и надейся, — сочувственно вздыхали не колхозники.

Старики поддакивали.

— Господи батюшка, да разя неведомо, что сынтульские испокон веков — народ не самостоятельный. У них ни работушки, ни заботушки, привыкли голодраться жизнь вести...

— Известно: разбойный народ...

#### 4

От Сынтула до Беясева рукой подать, каких-нибудь одиннадцать верст. А ежели брать бродом через Колпь, то и совсем рядом...

Из Белясева сынтульскую церковь, как на ладони, видно. Однако недружно они промеж себя жили... Старались посмеяться друг над дружкой, «учесть»...

Первоисточника этой распри никто не помнил, но бывали отдельные стычки, которые подливали масла в огонь.

И ведь все из-за пустяков...

Как-то белясевский пастух из сынтульского стада коров прихватил. В Белясева-то знать их подоили, а сынтульчане дознались до этой штуки, в дреколья да туда, такую ли драку затеяли... В драке нечаянно (а может и нарочно) одного белясевского прихлопнули.

Да мало ли тут всяких случаев было? Только раза три на год крепкие стычки меж сынтульчанами и белясевскими случались.

Зайдет разговор о сынтульских, так белясевские и рукой махнут. — Ну, что это за народ. Разбойники, пьяницы, за душой у них нет ничего. Да им и человека ничего не стоит загубить. Да и живут-то они: через двор — вор, через два — колдун...

И сынтульские в долгу не остаются:

— Ха! белясевские... Да разве это люди? Их на наши места-то, как баранов, привели. Купили в Пензе, да привели... Они привыкли, чтоб их погоняли. Таких плачешь, да бьешь.

И редко бывали также случаи, чтоб сынтульский парень брал за себя девушку из Белясева, или наоборот...

Гулянья так же велись, у каждого своим чередом. Попытали как-то три сынтульских парня пощупаться с белясевскими девчатами, а белясевские женихи так отмутозили их, что попытку больше не повторяли.

Но в гражданскую войну пришлось сынтульчанам воевать вместе с белясевскими. Народ, конечно, и те, и другие был не ахти какой старый, пообтесались в армии, поосмотрелись и сжились, землячками считались. Таким образом, молодежь заключила союз и только старики другой раз припомнят старое и начнут корить сыновей.

— С сынтульскими, с беспортошными водитесь... Да разя можно, да когда это видано?..

— Брось, папаша, — скажет мужик: — Сынтульские — народ мастеровой, нужный...

— Подошло времячко, нечего сказать...

Зимними вечерами, раза три в месяц, в Сынтуле бывало кино. На кино приходили и белясевские, благо по зимнику было не больше шести верст...

Иногда в сынтульской школе комсомол устраивал вечерки. Выступал на вечерках драм-кружок, плясуны, гармонисты и, конечно, бывали танцы...

На одной из таких вечеров Федька Сибиряк и познакомился с Катей левенской...

В Поочье у девушек длинные русые косы и глаза такие, что весеннее небо позавидовало бы...



Другая бегаёт девчонкой, босоногая да незаметная, а потом, глядишь, выправится и такая ли красивая выйдет...

А Катя в Поочье красивой считалась.

Что ж, Федька Сибиряк — парень молодой, крепкий, тянулся он к Кате.

Кате то же по душе был ловкий ухватистый парень. Как-никак Федька в Сынтуле не из последних был... В ячейке работал, на тракториста сдал, — словом парень был на все руки...



Перед самой пасхой уговорила Катя белясевских девчат в Сынтул пойти. Там в этот день кино привезли. Дорогой девчата подшучивали над Катей.

— Что больно прытко бежишь, или по Фединьке соскучилась?

— Как же, соскучилась... на что он мне? — отзывалась Катя с деланным равнодушием...

— Рассказывай на что...

— Да, ей богу, девушки...

— А ты уж не скрывай... Сладко ли с Федькой целоваться-то?..

— Да киньте вы право... Вот еще: Федька да Федька, — отмаживалась Катя, краснея от тайного удовольствия.

Такая уж их девья натура — любит, а ни за что не скажет.

Говорят сердце женское — чуткое — может и вправду это. Не даром торопилась Катя. Еще не доходя до школы, где обычно устраивали кино, повстречались сынтульские комсомольцы и в том числе Федор.

В зале, прижимаясь к нему, Катя рассказывала:

— Ой Федя, в Белясеве вас ругают! Отца твоего. Пьет он, говорят, а работа стоит... А вы что ли трактора им хотели послать?..

— Брежут все, не от этого задержка произошла. Частей запасных не было, да теперь подтянулись...

— А там говорят: отказываться от прирезки надо, а то не справимся... Обманут, слышь, сынтульские...

— А больше все, чай, твой дяденька старается? — насмешливо спросил Федор.

— ...Не люблю я его за то Федя...

— Надо бы еще любить...

— И тут вот тоже тобой попрекал: гулять с тобой не велит.

Федька нахмурился и закусил губу. Он знал, что Егору левенскому не нравится, что Катя гуляет с сынтульским, да к тому же помнил Егор о поджоге, поэтому Федька зло сказал:

— Не велит, так не гуляй...

Катя примолкла и тесней прижалась к Федору. Так долго сидели они молча, глядя на мелькающие кадры картины. И уже перед самым концом Катя тихонько проронила:

— Как же это не гулять-то?..

■ ■

На другой день в ячейку вызвали белясевских ребят и долго говорили с ними о настроениях колхозников. В итоге этой беседы решено было организовать комсомольскую ударную бригаду для помощи в ремонте тракторов...

— Ты, Федя, с отцом сговоришься, как лучше провести это, — наказывали ребята Федьке Сибиряку вечером, когда он собирался домой...

— Ладно, сговорюсь, — отвечал Федька. Он был выдвинут в бригады и пылал горячкой к делу.

Придя домой, Федор заметил, что отец немного выпивши, поэтому сразу начал с атаки.

— Хорошее дело... Пьешь все... Ты послушай, что в Белясеве насчет тебя говорят: бригадир, говорят, пьет, а дело ни с места.

— А что мне за указ твои белясевские... Да начхать мне на них, — в свою очередь закипятился Митрий.

— Они тебе не указ, да пить то в такое время не годится.

— Ха, — вот указчик нашелся...

— Брось отец дурака валять...

— Ка-ак? Ты что это? Учить? Ты мотри, сынок, как бы я тебя титку материну не заставил сосать...

— Эх, ты, а еще красногвардеец...

— Ну и красногвардеец, а тебе што? Да, красногвардеец... А вот пойду сейчас и еще напьюсь, и ничего ты мне сделать не можешь. Вот сейчас пойду...

Он суетясь стал одеваться. Сын молча следил за его неуклюжими движениями. В груди подымалась злоба на отца, хотелось закричать ему в лицо самые обидные слова...

— Вот оделся и пойду...

— Да наплевать мне коли так на тебя — крикнул сын.

Митрий ушел. Мать, тревожно наблюдавшая эту распрю, тихонько сказала:

— Что ты, Федя, так-то на отца-то...

— Э-э, мать, ты не понимаешь...

— Не гоже сынок...

Не поужинав, Федор лег спать. Но заснуть не мог долго и все ворочался с боку на бок.

Часов в двенадцать пришел отец. Федор почувствовал, что отец трезвый.

— Спит что ли Федька-то? — спросил Митрий у жены.

— Спит...

Митрий тихонько подошел к нему и присел на лежанку. Федор открыл глаза. Увидев, что сын не спит, Митрий наклонился к нему и сказал:

— Ты, Федя, ни тово. Это я, понимаешь, так... Ты это верно.

— Я тоже погорячился малость, отец, — улыбнувшись ответил Федор и почувствовал теплую волну радости, подкатывавшей к сердцу.



— А насчет Белясева, так мы еще им покажем... Два-то уже совсем готовы, хоть плуги прицепляй...

— А мы отец к вам в помощь комсомольскую бригаду даем.

— О-о? Вот это здорово... Теперь мы, брат, двинем... А ты-то как? придешь?..

— Я у них бригадиром...

— Ну? Ай сын!.. Ты это... не подумай чего... Я так это, без сердца, — погорячился... Ну, ладно, спать давай... Загулялся я нынче... У приятеля был. Припомнили, как генералов били...

Отец улегся, и в избе воцарилась полная тишина. Только было слышно, как где-то за печкой шуршали тараканы, да мать на печи все вздыхала и что-то нашептывала.

## 5

С утра до позднего вечера в мастерской стучали молотки, шуршали напильники, скрежетали сверла, вгрызаясь в упругое тело железа. Бригада Сибиряка не считалась с временем. Работали и вечерами, чтобы к сроку поспеть с ремонтом тракторов. Не отставала и комсомольская бригада Федора.

Сынтульчане шутили:

— Сибиряки весну покоряют...

— На пару работают...

— Эти уж, паря, не сядут.

— Что говорить? — мастера. Старый хорош и молодой не уступит.

— Вот ребята, какие дела пошли, — рассказывал старик Вавилон: — Тут вот как-то зашел в мастерскую... Так поверишь ли? — чистый Вавилон. Как на себя работают. Шпарят без передышки.

— Они свое дело знают...

— К весне торопятся, — кто кого обгонит. Весна ли Сибиряков, или Сибиряки весну...

А весна, верно, точно поспорить с людьми захотела: шла ходко, дружная, многоводная...

«Горный двор» соял возле плотины, перегородившей течение Колпи. Выше на взгорье бестолковой толпой теснились кузни, а еще дальше, там, где берег переходил в обрывистый, и крутой стеной вставал над Окой, развернулись домишки Сынтула.

Из мастерских был замечательный вид на разлившуюся реку, охватившую мутными водами десятков километров, затопившую Поречье, рощи, луга...

Костик Месяцев, молодой кузнец из бригады старшего Сибиряка, часто отрывался от работы, чтоб взглянуть на паводок:

— Эх! За рыбой бы теперь! — вздыхал он, — за рыбкой... Ловится она сейчас, братцы вы мои!.. И-и-эх как ловится!.. Когда лед идет, так нет лучше рыбу ловить. Она шума пугается и по заводям жметя... Тут ее прямо голыми руками бери...

— Эх ты, рыбак, ты прокладку-то под цилиндр положил ли? —

обрывал его бригадир, видя, что Костик ставит цилиндровые крышки без прокладки под клапанами...

— Заговорился, Митрий, я сейчас это переставлю... Ты, Митрий, подумай только: сейчас ее пуды... Ей богу, пуды... И прямо руками вот возьми ее и в лодку... Кабы не этакое дело, ушел бы... Будь гад, ушел бы... За рыбой. Ведь навязалась же эта надсада. Митрий, поедем с тобой. А?.. Денька на два, а? На денек?..

— Брось трепать, Костик, — холодно отвечал Митрий, а Костик отрывался от работы и тоскующими глазами глядел на воду...

Через два дня Костик не вышел на работу... Накануне он все жаловался на боль в животе, стонал, охал и рабочие думали, что парень заболел и слег. Но зашедший перед обедом в мастерскую сосед Костика открыл истинную причину прогула:

— За рыбой вдарился ваш Месяц... В ночь на белясевскую заводу упорол...

— Как так за рыбой?.. Разве он не заболел?..

— Заболел, да только «рыбацкой лихорадкой»... Ему теперь без ловли невтерпеж...

— Подлец он, — разюмировал Федька.

— Не-е милый, так нельзя: человек отраду видит в этом...

— А если из-за его отрады сотни людей потеряют ее? Сбежать в ответственный момент да еще обмануть товарищей, это не рабочему... Что это за ударник? — Я предлагаю выгнать его из бригады...

Комсомольцы поддержали Федора.

Митрий глядел на сына и удивлялся тому, что совершенно не замечал, как рос Федька, как становился он серьезней и строже, и вот теперь не без гордости отметил, что жесты у сына закончены и уверенны, и слова тверды и прямы... «Я молодой такой-то горячий был... В меня пошел»...

Бригада Сибиряка не особо возражала против изгнания Костика, потому что был он мужиченко пустой и трепливый...



Шумок, поднявшийся было в Белясеве, затихал. Коммунисты колхоза резко осудили иждивенческие настроения и бестолковый шум некоторых колхозников, возникшие вокруг задержки ремонта...

Но главное, что успокоило колхозников, это — сведения об успешном ходе ремонта. Но кое-кому было выгодно, чтоб у колхоза с МТС возникли распри; поэтому еще шептали на счет сынтутьчан всякие басни...

Степан Башкин и еще три колхозника зачастили ходить в левенский хутор, где Егор встречал их радушно...

— Шел тут вот, — обычно начинал Степан, поздоровавшись с хозяевами: — шел и поверишь ли, голая земля-то... Совсем уж голая, так только в мочежинках снег-то лежит...

— Весна, — отзывался в свою очередь Егор: — Весна, братцы



вы мои, — мужичку заботка... Мужичек это не то, что какой мастеровой. Он когда хошь наработается, когда хошь нагуляется... Вот Костик сынтульский; ему горя мало, надясь за рыбой приехал... Ему ни сеять, ни жать. Ему что за дело? А осень придет, нам — раскладочку: так мол и так, сдавайте, мужики, хлеб. Костика Месяцева кормить надо, — потому как есть он рабочий класс... Трудно мужичку... Не легче ранешного...

Мужики сочувственно вздыхали, а Егор продолжал:

— Трудно. Вы еще артелькой-то туда-сюда, а вот которые в единственном лице, тех жалко... Я уже и то думаю... жалко, думаю, их, помочь требуется. Со своим управлюсь, так глядишь им лошаденку дам... Ладно мол, не обедняю, а там сочтемся...

— Кабы все так-то с душой, — умилялся Степан.

— А то нешто бы?.. Да господи, мужик век в братстве жил, вот уж только последнее время-то возмущение пошло.

Разговоры эти с хутора мужики приносили в деревню. Колхозники не верили в «доброту» Егора левенского, но никак не могли додуматься, куда он гнет и выходило так, что говорит он от чистого сердца...

И хотя было великое желание запахать Поречье, вылезти на новые нетроганные земли, но все же левенские настроения находили себе отклик. Некоторые рассуждали:

— Чего зря спину ломать? — Себе хватит и того, что деды пахали... А на чужого дядю трудиться не велика радость.

— Костика Месяцева кормить?.. Он и так гладок... А поломаемся мы с этим Поречьем вдоволь...

Им возражали:

— Ты что ж, без ломки, играючи, хочешь прожить? Нет, ты, друг, сначала посей, а потом уржай собирай...

— На Костика нечего пенять... Слышал, поди-ко, как его из бригады-то наворачнули...

— Тракторами поднимем... Повернем и Поречье...

И колхоз готовился. Шла разбивка на бригады, припасали семена, проверяли инвентарь... Поля, раскинувшиеся по взгорью, уже **обнажились окончательно** и подсохли. И вода уже кое-где начала убывать. Обнажилось Поречье. Белясевцы через неделю ждали тракторов, чтоб начать вспашку верхних мест.

## 6

Тракторы пришли бы в Белясево день в день, как было договорено, но произошло событие, сорвавшее планы МТС.

На второй день пасхи обе бригады Сибиряков вышли на работу, чтоб окончательно разделаться с ремонтом. Оставалось совсем немного; бригады проработали до обеда и большую часть работы закончили. На завтра осталось заправить машины, чтобы выехать на пробу...

Но Федор не утерпел, и шесть тракторов заправили в этот же день. В этот же день им и пришлось поработать...

...Еще вечером люди беспечно смеялись, добродушно гуторили, сидя на низеньких крылечках домов. В сумерках тепло, — по домашнему попыхивали папироски. Шебутилась детвора...

Где-то далеко, далеко, то замирая, то вспыхивая с новой силой звенела песня...

А ночью вода прососала плотину. Поднявшийся с полуночи ветер бороздил водную равнину широкими волнами. С придушенным хрипом и свистом они бросались на берег, и отбитые рассыпались тысячами холодных брызг.

Устремившись в промоину, вода клокотала и шипела размывая грунт. Она ворочала камни, вырывала тяжелые бревна, подбрасывала их точно щепки и обессиленная борьбой широко разливалась по долине.

Прибывая все больше и больше, она крошила и мяла препятствия и, когда люди заметили прорву, вода уже бесилась и подкрепленная ветром тяжело стонала.

И вдруг стало ясно, что через два часа вода подойдет к «Горному двору», хлынет в мастерские и зальет их...

Ее нельзя уже было предотвратить, — она надвигалась стеной.

Ветреная черная ночь, полная неожиданным коварством, казалась, смеялась над людьми, над их бессилием...

Сынтул, раскинувшийся поодаль, на горе, еще спал, не зная о надвигающейся катастрофе. Но вот шарахнулся набат, и встревоженные им люди бежали к «Горному двору» и суетились там бестолковой нестройной толпой.

Митрий Сибиряк прибежал одним из первых. Он выбежал из дома не одевшись, как следует, в распахнутой летней рубашке, без шапки и, когда суетился на «Горном дворе», то развевающиеся на ветру волосы его багрово рдели от пламени зажженных кем-то факелов...

— Струменту-то не давай погибать... Ребята!

— Тракторы!

— Тракторы надо наверх выволакивать...

— Тракторы...

Митрий понял: во что бы то ни стало надо выволочь наверх на взгорье тракторы, — спасти то, над чем он так рьяно трудился...

Не помня себя, он метнулся к одной из машин и вздумал своей силой сдвинуть ее с места. Но трактор не подался. Митрий застоял и позвал на помощь. Но люди только бестолково топтались на месте, мешая друг другу...

И вдруг раздался чей-то голос:

— Граждане! Разойдитесь, не мешайте!.. Освободите двор!..

Холодным спокойствием веяло от этого голоса. Митрий не узнал его, оглянулся и увидел Федьку.

— Товарищи, комсомольцы, сюда!.. Граждане, освободите двор! — продолжал Федор.

— Что он хочет? — подумал Митрий...



— Товарищи! Часть тракторов заправлена: ими мы вытащим и остальные...

Спокойно и властно распоряжался Федор и обессилевшая от волнения толпа послушно отступала перед его холодной силой...

Через несколько минут заработали тракторы, вытаскивая на взгорье сотоварищей...

— Кто же тракторы-то заправил? — спросил Митрий.

— А мы тут с обеда их пробовали, — ответил Федор и закричал кому-то: — Левей, левей держи! Тут колдобина...

..Выйдя ночью на двор, Егор Левенский услышал набат и яростный шум воды.

Это были первые всполохи прорвы, но Егор сейчас же угадал их. Постоял минут пятнадцать, прислушался, и потом, подняв к темному, закрытому тучами небу глаза, сказал:

— Благодарю тебя, господи, за то, что не оставляешь слуг своих.

Истово перекрестился и пошел в сенцы.

## 7

Через три дня Федор с бригадой трактористов должен был выехать на пахоту. До этого ему хотелось увидиться с Катей. Наказав с знакомыми девчатами, чтоб она вышла к мельнице, он сам после работы, не заходя домой, заторопился туда... Товарищам он объяснил, что ему по делу надо зайти в одно место, но те видимо почуяли, куда он собирается идти, и подзуживали:

— К мельнице что ли по делу-то?..

— Соскучился?..

— Попусту, Федька, волынку тянешь. Егор не отдаст Катьку за тебя. Нешто только так, в чижики поиграть да врозь?..

Федор прекрасно знал, что Егор левенский будет несогласен на их брак. Он уже несколько раз заговаривал с ней о женитьбе, но Катя побаивалась дяди; говорила, что, может быть, можно подождать. Глядишь, он одумается и согласится. Конечно, это была пустая надежда...

Вот и сегодня Федор хотел поставить вопрос прямо: «любишь — пойдешь; не любишь, тогда распроститься придется».

Дни стояли хорошие, ведряные и дорога к мельнице окончательно просохла. Федор шел размашистым крупным шагом. По сторонам дороги вставал кустарник, начинающий зеленеть; пробивалась изумрудная листва тальника; краснелись и лоснились прутья вербы. Кусты и травы жадно напитывались соком и разворачивались невиданной красотой. Но Федор не замечал ее, погруженный в свои мысли.

Наконец, впереди в мягких сумерках зачернела плотина. «Пришла или нет?» — подумал Федор и стал искать глазами, не мелькнет ли среди берез знакомая фигура...

Катя уже ждала. В сером клетчатом платье, которое особенно

шло к ней, она показалась Федору особенно красивой и по родному близкой-близкой.

— Заждалась, — сказала она улыбаясь: — Всегда ты так. Со-скучилась ведь.

— Кончили поздно, — объяснил Федор и, отвернувшись не-много, продолжал. — Через три дня на пахоту выезжаем, вот и хо-тел с тобой увидеться... Хотел сказать тебе прямо...

Катя поняла и перебила его:

— Фединька, да кабы я... Чудной ты мой, люблю же я тебя. Только ведь дядя-то... Уперся, как бык...

— А что тебе он? Кабы любила, так не посмотрела бы на это...

— Да ведь как же?..

— А чего мы будем без толку... Вот от людей любовь свою прячем, как ворованное, — не могу я так.

— Может, Федя, маленько погода он и согласится.

— Кто? Егор? Да как же он согласится-то, когда каждый день у него на нас злобы все больше, да больше. Ты думаешь, на меня что ли он сердится? — Он на жизнь сердится...

Катя стояла, прижавшись к Федору, и прислушивалась к его словам.

— А жизнь так устроена, что нам с ним ни в какую не сгово-рится. Вот и сейчас белясевских-то ведь он мутит. Ему на руку, если ссора будет. Как раньше этой самой враждой Белясева с Сын-тулом, так же, как твоей папаша, глаза нам прикрывали, чтоб не ви-дать было настоящего-то врага.

— Феденька, чего же я-то поделаю?..

— А что тебе твой дядя? Он только вяжет вас... Уйти надо... Проживем. Проживем и так... А жизнь-то какая будет!..

Они оба примолкли и задумались о той самой жизни, которая будет...

Вот она уходит от отца к Федору. Вот они живут и работают вместе... Катю, конечно, примут в комсомол, — хорошо будет!..

Мягкая синева обволакивала рощу. Становилось зябко. Федор обнял Катю и она прижалась плотней, чувствуя приятную теплоту его тела.

— Ну, Катя? — спросил Федор.

— Не знаю... — робко ответила девушка.

Федор быстро отстранился и похолодевшим внезапно голосом сказал:

— Не хочешь?.. Ну, что ж, прощай!.. Прощай, ежели не хо-чешь. Лихом не поминай Катерина Егоровна...

— Федя, ведь не я же в том вольна...

— Э-э... А ну, хватит. Прощай!

Он зашагал прочь. Пошел, даже не подав руки на прощанье. Катя глядела ему вслед. К горлу подкатывал соленый клубок, хоте-лось догнать его и сказать, что она на все, на все согласна, только бы быть вместе, близко друг к другу, как несколько минут назад.



Она хотела уже побежать за ним, но ноги не двинулись, и Катя только крикнула:

— Федя!.. Феденька!..

Но Федор уже не слышал...



Егор левенский использовал наводнение в своих целях. Уже на другой день в Беясево пошли разговоры о том, что сынтульские не берегут тракторов, что им все одно; что, надеявшись на них, можно пропасть.

Появились разговоры о том, что надо взять тракторы прямо в колхоз...

На Красную Горку созвали собрание. На собрание пришли все, от мала до велика. Последний раз уточнялся и детализировался план весенней пахоты.

Когда очередь дошла до разработки участка Поречья, слово взял Степан Башкин:

— Граждане! Я сомневаюсь вот в чем. Как бы нам не сорваться на этом деле. На тракторы, конечно, есть надежда, но промежду прочим надежда плохая. Не иначе могут они нас подвести, потому как не было за ними того раденья. А сейчас нам никакого позору не будет. Стихийное, мол, бедствие. Я вот в чем сомневаюсь: спину то налосмаем, а еще неизвестно, что это за земля, — а ну-ка не уродит...

Собрание шло на воле, возле общественного сарая. Свежий ветерок тормозил Степанову бороду и играл с платками баб...

— Так что, граждане, сомневаюсь...

Часть колхозников поддержала Башкина. Тогда выступил Аким Кулев — молодой колхозник.

— Я думаю, товарищи, что сомневаться тут нет надобности. В чем сомневаться? В силе своей? В тех возможностях, которые у нас имеются?.. Не верно... Мы же не слепые, мы видим, кто тут орудует. Хуторские кулаки пытаются с новой силой разжечь антагонизм между нами и рабочими МТС. Это им выгодно, потому что это ведет к срыву производственных планов колхоза. А сорвать наш план мы никогда и никому не позволим... Пусть это запомнят. О чем говорить, товарищи? Наша задача состоит в том, чтобы дать стране товарный хлеб...

— А страна его Костику Месяцеву отдаст! — крикнул кто-то из толпы...

— Неверно, товарищи. Почему отдаст Месяцеву? Почему вы приводите этот пример? В семье не без урода... Но рабочий должен получить хлеб. И мы дадим его. Мы дадим хлеб ударникам, таким рабочим, как Сибиряки, которые вместе с нами болеют душой за это дело... Они ведут нас правильной дорогой.

— Ты не о дорогах, а о Поречье... Они спину-то не ломают...

— Они — отработал восемь часов и думы нет...

-- Они...

Поднялся шум и гвалт. Уже не слушали ораторов. Открылись свои митинги среди кучек собравшихся.

По тому, как пошли эти брожения, можно было подумать, что сегодня ничего не выйдет и придется собрание перенести на завтра.

Президиум вместе с правлением колхоза совещался, когда прибежали мальчишки, неистово крича:

— Едут, едут!..

— Кто едет? — спросили сразу в нескольких концах.

— Тракторы едут...

И собрание вдруг сразу умолкло. Притихли крикуны, точно вылили на них ушат холодной воды. Действительно, было уже слышно стрекотание работающих моторов. Подымаясь на взгорье к Белясеву, шли шесть тракторов.

В золоте ясного дня они шли неотвратимо, ровно и быстро. Железо поблескивало на солнце. И чувалось в них огромная сила, могущая повернуть, взбудоражить, сломать. Колхозники молчали. Шум шести машин и вид их сломали и утихомирили поднявшееся было волнение...

Передом шел Федор Сибиряк. Въехав в улицу, он круто завернул машину к собравшимся и крикнул:

— Принимайте гостей!.. Работенки подваливайте!.. Явились...

— Явились! — повторял кто-то...

В минуту толпа обступила тракторы, возбужденно шумя нахлынувшей радостью...

— Завтра бугор поднимать, а там и на Поречье двинем! — опять крикнул Федор...

И не нашлось ни одного, кто возразил бы...

## 8

Как корабли шли тракторы, оставляя позади себя вспененные борозды земли. Бригады работали в две смены. Когда перешли на Поречье, на пахоту, забегали колхозники. Мяли в руках рыхлую буроватую землю, нюхали ее зачем-то...

А земля пышно подымалась высокими бороздами. От нее слегка шел парок, и в сумерках над Поречьем плавали горьковатые туманы... Палатка трактористов была раскинута на пригорке, возле самого берега. Ночами около нее горел костер. Приходили белясевские ребята поговорить с трактористами... Тут же проводились собрания комсомольской ячейки колхоза...

На другой день, как тракторы двинулись на Поречье, к палатке прибежал Ванька Кулев, брат Акима Кулева... Видимо он шибко бежал и запыхался.

— Федя!.. Какие друг дела-то!.. Прорву-то... Егор левенский прорву-то подстроил... И ведь как узналось-то... Вот сволочь...

— Говори ты, пожалуйста, толком, — перебил его изумленный Федор.

Трактористы сгрудились вокруг Ваньки.



— Карноухова подослал...

...Года два назад зашел на левенский хутор бродяга-мужиченко. Низенький, мышастые глазки, одет — заплата на заплате. Одно ухо у бродяги напрочь отхвачено...

Пораспросил Егор мужиченка, — кто, дескать, да откуда.

— Хожу, мил человек, по всей Рассее, — объяснил тот: — а зовут меня Никитой, только этак-то редко... Все больше Карноухим...

— Что ж, христовым именем ходишь?

— Всяко, родной. Где христовым именем, где подработаешь, так и иду...

Остался Карнаухий на левенском хуторе поработать да и осел там. Работник он был безотказный. Тратиться на него не приходилось, а ломал он за пятерых. И Егору это в пользу пошло. Вот, дескать, он какой: бездомного призрел...

В трех верстах от Сынтула, вверх по Колпе, стояла мельница. Некогда она принадлежала сынтульскому богачу Ремину, но потом, после революции, отошла к государству. Мельница работала водой. В этом месте были на Колпе устроены «вешняки» или шлюзы, как называют их в других местах...

Вечером, накануне прорвы, Егор левенский послал Карноухого на эту мельницу.

— Мотри только, чтоб ни одна душа про это дело не знала.

— Господи, неужто...

— Узнают, так убью... Помни ты: я да бог, вот и все, кто знают...

— Что ты. Егор Федыч, — нешто впервой?..

...Он и открыл вешняки-то.

— И ведь как узналось-то, — рассказывал Ванька: — Он у Степана Башкина, Карноухий-то, выпивал. Напился в лоскуг и захвалится: «у меня, слышь, Егорка в руках. Я, мол теперь барином живу, — пей-не хочу»... А наши ребята слышали... Он было отпираться, да тут свидетели...



К вечеру Егор левенский возвращался из Сынтула, куда он ходил по своим делам. Он не утерпел, чтобы не взглянуть на Поречье и пошел бродом. Проходя межой он увидел, что около палатки трактористов сгрудились девчата, и среди них узнал Катю.

Катя знала, что на пореченском участке работает Федор и пришла в надежде уладить размолвку. Но Федор шутил с другими девчатами, с Катей же не сказал ни слова.

Заметив Катю, Егор матерно выругался и размашисто пошел к палатке. Молча подошел он к племяннице и, резко схватив за рукав, дернул к себе. Кофточка затрещала. Это еще больше озлобило Егора.

— Шляешься, потаскуха! — закричал он и ударил Катю в грудь...

В этот момент подбежал Федор. Лицо его перекосилось, он был бледен.

Он схватил Егора за плечо и отбросил прочь. Катя со страхом

глядела на происходившее. От испуга она не понимала, что случилось. Лицо Кати было мокро от слез.

— Ты чего, щенок, лезешь? — заревел Егор, наступая на Федора: — Поджигатель окаянный... В острог вас с отцом вместе.

Черный, обросший щетинистой бородой, с выкатившимися глазами, Егор был страшен. Он замахнулся, чтоб ударить Федора, но тот предупредил его и в свою очередь ударил кулаком в лицо...

Егор упал от удара и застонал. Потом, вдруг поднявшись, он мелко побежал от палатки. Он бежал прямо по свежей пахоте, неуклюже путаясь ногами...

Отбежав сажен сто, оглянулся и закричал:

— В суд... В суд подам на мошенника...

Федор подошел к плачущей Кате. Ребята и девушки предупредительно отошли в сторону.

— Ну, что ты... Катюша... — тепло сказал он: — Зачем ты? А?

Кага всхлипывала у него на груди...

— Успокойся Катюша... Катя...

Ему хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, теплое, но он не находил нужных слов...

Легкие сумерки мягко окутывали Поочье. Около костра шевелились тени. Кате показалось, что ничего еще не было, что это стоят они у мельницы, где встречались последний раз. Она подняла на Федора заплаканные глаза и тихонько сказала:

— Вот, Федя, пришла я... Я не пойду домой...



Дома Егора уже поджидал милиционер и двое понятых. Егор было попятился, но милиционер направил на него револьвер и сказал заученно, с хрипотцой:

— Гражданин Левин, вы арестованы... Собирайтесь...

Один из понятых как-то весело, точно сообщил приятную для Егора новость, добавил:

— А Карноухий твой сидит уж.

Егора вывели на двор. Там стояла его буланка, запряженная чужими людьми. В избе выли жена и парень. Молча сел он в телегу. Один из мужиков стал править, а другой сел рядом с милиционером, позади Егора...

Всю дорогу молчали. Ясная звездная ночь дышала тончайшими запахами растущих трав и цветов. Внизу, за рекой, в Поречье, двигались блестящие точки, словно кружились огромные светляки...

Правивший мужик, кивнув в ту сторону головой, сказал:

— Трактористы последний загон дошибают... Хлестко работают. И ночью-то: фонари приспособили...

Замолчали опять...

Было слышно, как дышит Поочье... Играла рыба и всплески воды звенели, травы шуршали и тянулись, ползли... Лопались почки, и с них опадала коричневая, заскорузлая шелуха, обнажая пахучие, полные жизненных соков побеги. Еле уловимый ветер метнулся с ре-



ки и слышался чей-то грудной, слегка приглушенный полнокровным счастьем смех.

Хорош этот смех! — В нем ли не чувствуется жаркая схватка кровей и молодости... И чорт возьми, не в нем ли зарождается живое, чтобы впитывать крепкие ядреные соки и расти для нового счастливейшего смеха и радостной жизни, которая уже наметилась в едва уловимых, но играющих красках утренней зари.

Апрель 1932 г.

## Новичок

Десятками моих друзей  
Давно все заняты скамейки;  
Сегодня в цехе слесарей  
Идет собрание ячейки.

Слесарная не велика.  
И кто пришел немного поздно,  
Устроились на верстаках  
И на площадках паровозных.

Замолк до завтра гомон дня,  
Шипенье, скрежет, перестуки...

— Принять!  
— Принять его!  
— Принять!

И дружно голосуют руки.

А он, сидевший у окна,  
Поднялся, расправляя плечи.  
— «Дорога предо мной одна!» —  
И Борька захлебнулся речью.

— «До этих лет я в мире не жил.  
Я знал лишь лес да ветхий кров,  
Друзья мои, лишь ветер свежий,  
Да стадо тихое коров.

Былое не звенит бубенчиком,  
А низко гнется, как лоза.  
Одинокий и застенчивый  
Я миру не глядел в глаза.

Я знал заботу и тревоги.  
Отец под Перекопом пал.  
Махно братишку расстрелял  
За то, что не сказал дороги.

Лишь мать да русая сестра  
Остались жить со мной на свете.  
Зимой в глухие вечера  
Водил я пальцем по газете.

Когда я грамоту постиг,  
Казаться стала жизнь иною.



Десятки умных, мудрых книг  
Раскрыли мир передо мною.

Я не случайно к вам пришел,  
Друзья мои. Я думал много.  
И крепко верю —  
Комсомол —  
Моя вернейшая дорога!» —

Закончил. Сел он к верстаку.  
Ему за слово жму я руку,  
Как комсомольцу-новичку,  
Как товарищу и другу.

## Письмо матери

*(Вольный перевод с цыганского)*

У родимых шатров по весне  
Тебе сладок дымок папиросы.  
Часто, часто я вижу во сне  
Гвои черные волны зачеса.

Мне тебя не забыть, моя мать,  
Как тебе не забыть мою удаль...  
Научился уже понимать  
Я простые заводские гуды.

Про счастливую долю свою  
Я хорошую песню пою:  
— Ты прощай, мой холодный шатер,  
Под навесом столетних сосен.  
Свои годы бродяжки бросил  
Словно прутья, в огромный костер.

В громыхающих сталью цехах  
Песня старая затерялась.  
Все же память о знойных степях  
В моем сердце надолго осталась.

Никогда не забуду полей,  
Где я жил свое детство карябая.  
Помню шопот родных ковылей,  
Помню небо моей Бессарабии.

Про счастливую долю свою  
Я хорошую песню пою:  
— Ты прощай, мой холодный шатер,  
Под навесом столетних сосен.  
Свои годы бродяжки бросил.  
Словно прутья, в огромный костер.

Утром молишься ты на восток  
Просишь бога послать удачу.  
Но молитвы не слышит бог,  
Те слова ничего не значат.

Вижу новь этих дней голубых,  
Вот они пролились на поляны;  
Навсегда от кочевий своих  
Молодые уходят цыганы.

Про счастливую долю свою  
Я хорошую песню пою:  
— Ты прощай, мой холодный шатер  
Под навесом столетних сосен.  
Свои годы бродяжки бросил,  
Словно прутья, в огромный костер.

Знаю; нет у отца коня,  
Как у нас его не было прежде.  
По околицам, по деревням  
Также ходишь ты в рваной одежде  
Те же сказки и та же сума.  
Жизнь горька, будто в поле осина.  
Не ругай, моя кровная мать,  
В шумный город ушедшего сына.

Про счастливую долю свою  
Я хорошую песню пою:  
— Ты прощай, мой холодный шатер  
Под навесом столетних сосен.  
Свои годы бродяжки бросил,  
Словно прутья, в огромный костер!

1932 г.



## Передовики

В работе время береги.  
Не как попало, не вразвалку.  
Ударный день несет шаги  
По всем отделам «Красной Талки»  
Над медным зеркалом валов  
Склонились лица граверов.  
Квалификация — не случай,  
Никто шутя к ней не пришел;  
И здесь —  
В разряде самых лучших  
Твои ребята, комсомол.  
Поэт молчать о них не в праве...  
К рисунку тонкому приник  
За верстаком безусый гравер,  
Еще недавний ученик.  
Работа точная — не проба,  
До срока пройдена учеба,  
Теперь покорна сталь резца  
Упорству юного спеца.

---

Володе Николаеву двадцать лет.  
Он — комсомолец с пятилетним стажем  
Таких миллионы  
Поставим на страже  
Наших достижений,  
Наших побед.

---

Цеха ситцепечатные  
Возьми на проверку,  
Вопросы воспитания  
Поставь перед собой:  
Ячейку Николаева  
Под общую мерку  
Не подвести сегодня  
Критике любой.

---

На слово не положатся  
Испытанные парни, —  
Ты слово комсомольское  
Работой оправдай:  
Бумажные герои,  
Такие же ударники —  
Не верные детали,  
Без толку провода.

---

Ребята взяли шефство  
Над стригальным отделом,  
Придут ватагой дружной,  
Порядок наведут:  
Пожалуйте рабочие,  
Вставайте прямо к делу, —  
Опрятные машины  
Верней на ходу.

---

Сказать попутно должен я  
О Сидоровой Ане.  
Не зря гордится ею  
Активный молодняк.  
Откинув отговорки,  
Берет она заданье:  
Отсталые отделы  
На высоту поднять

---

Успех ее работы  
Широко был отмечен  
В фабричной газете  
На первой полосе:  
«Сменные отбельщики  
Перешли на встречный —  
С боевыми в ногу  
Шагайте все».

---

«Партии заданье  
Выполним с честью...  
В большевистских темпах  
Сила наших дней...  
Первая смена  
На почетном месте;  
Отстает вторзя —  
Слово за ней».



---

И слово было сказано  
Не грубое, простое,  
Но легкому работничку  
Натужиться пришлось:  
«Не хватит ли, товарищ,  
Выращивать простои,  
Держать в загоне качество,  
Работать на «авось»...

---

Газета бьет тревогу:  
«Добейтесь экономии...  
Перерасходы топлива  
Готовят нам прорыв...  
Чего сидят работники  
В дирекции, в фабкоме?..  
Наш аппарат хозяйственный,  
Как видно, еле жив...».

---

И снова комсомольцы  
Ведут наступление,  
Товарищ Николаев  
Из первых впереди,  
И сыплются десятки  
Рабочих предложений...  
В живом союзе с массами  
Нам легче победить.

---

Привет весне колхозной...  
Ее железной коннице...  
В полях ручьями звонкими  
Пропели снега.  
Настанут дни погожие  
И зацветут под солнцем  
Засеянные впору  
Бесчисленные «га».

---

Бригада «Красной Талки»  
Спешит к работе новой,  
Идет братва фабричная

К подшефным полосам:  
Отдать деревне знания,  
Помочь разумным словом,  
Рассыпать верным молотом  
Стальные голоса.

---

Вот слесарь — комсомолец,  
С лицом от пота влажным  
В горячий день ремонта  
Пилит и рубит сталь.  
И крепнет сила трактора,  
Растет с минутой каждой,  
Забытой не останется  
Мельчайшая деталь.

---

Привет весне колхозной  
И теплой ласке мая!  
Уже упал на пашни  
Посева желтый дождь...  
Не вся ли ширь советская  
От края и до края  
Полна борьбой и песням!  
Твоими, молодежь?..

---

Кто носит имя ленинца, -  
Держи его как знамя,  
Победную дорогу  
Другим укажи,  
Что часто бродят ощупью  
Окольными путями,  
Меняют дело класса  
На мелкую жизнь.

---

Товарищ Николаев —  
Примерный комсомолец  
Таким его беру я  
Для этих стихов.  
Он школу ленинизма  
Прошел упорной волей  
И с ним растут ребята  
Печатных цехов.



## Две бригады

В небе редко появлялась просинь...  
Сыпал дождь и прилипала грязь.  
И вот в эту непогоду — осень  
За работу Надя принялась.

— Не бежать же от дождя и ветра.  
Разве можно наши темпы сдать?  
Надо вместо двадцать кубометров  
Вырыть тридцать или тридцать пять.

Одобренье раздалось в бригаде:  
— Это верно, нужен встречный план.  
Соревнуясь, друг на друга глядя,  
Пятеро кроили котлован.

От сырой земли несет прохладой:  
Землю ныне взяли в оборот.  
И гордится Надиной бригадой  
Великан — асбестовый завод.

Не задремлют ловкие девчата,  
Крепко волосы стянул платок.  
Властно режут светлые лопаты  
Не совсем податливый песок.

Шли к десятинику под вечер снова  
Говорить о радостях побед.  
Но жалела бригадир Носкова,  
Что не так работает сосед.

Эти девушки ловки и притки,  
Только вот сосед у них не тот.  
От него немалые убытки  
Переносит каждый раз завод.

Как то раз, когда заря пунцовый  
В горизонте сеяла узор, —  
Подходила Надя к Кузнецову  
Деловой затеять разговор.

Говорила волнуясь Надя:  
— Знать у вас интерес не тот.  
Посмотри, как в моей бригаде  
Строго выдержан хозрасчет.

— Скоро ль сбросишь худую славу?  
Скоро ль, Степа, расстанешься с ней?  
Вам бы надо бетонную лаву  
Направлять на ударность дней.

Не похожа речь у землекопа  
На слова каких-нибудь задир,  
Ей хотелось, чтоб бетонщик Степа  
Был примерный в деле бригадир.

---

К ночи хмурилась и билась Волга,  
Нагнетая зло за валом вал...  
В эту ночь Степан продумал долго,  
В эту ночь он, кажется, не спал.

Поступить Степан не мог иначе,  
Он же первый в срывах виноват...  
В прошлом Степа много лет батрачил,  
А потом попал на комбинат.

Про себя он признавался Наде:  
«А и верно: я не тороплив;  
Знать, от этого в моей бригаде  
Каждый раз скандалы и прорыв.

Не видать в нас комсомольской спайки.  
Потому и много неудач.  
Вот к примеру Сенька Балалайкин —  
Закадычный пьяница и рвач.

Нет, к таким не может быть пощады:  
Для чего мне лодырей беречь?»  
И на утро он среди бригады  
Произнес неслыханную речь:

— По бетоно-замесам график наш низок,  
Дело ни к чорту, нельзя же молчать.  
Нам землекопы бросили вызов,  
И мы этот вызов должны принять.

— Думал я долго: какого беса?  
Наша бригада — не бригада, а вор.  
Мы даем девяносто бетоно-замесов,  
А ведь это — сплошной позор.

— Мы срываем план и как будто рады,  
Не давая заводу ценнейший бетон.  
Прогульщика Пронина гнать из бригады,  
Пьяницу Хрящика — вон!

— Товарищи, верьте! Ведь не сплю ночи я  
Нашу бригаду чорт не поймет.  
Я предлагаю переводить в разнорабочие  
Тех, кто прогуливает и пьет.



---

В бригаде пошли перепалки,  
В бригаде прорыв и провал.  
И у бетономешалки  
Не раз заигрался скандал.

Скандалил прогульщик Пронин  
Ругался, из кожи лез:

-- Работать, друзья, на бетоне  
Какой может быть интерес!

— Здесь только энергии трата,  
Здесь попусту силы лей:  
Здесь низкая очень плата,  
Здесь за день с утра до заката  
Пяти не добудешь рублей.

— Эх ты, прощальга пропаций,  
В тебе обывательский нрав! —  
Кричал надрываясь Хрящик,  
Недавно ударником став.

Кричал он: — Не хочешь — не делай,  
Ты видно чужой элемент.

---

Бетономешалка скрипела,  
Мешая упругий цемент.

## Сквозь буран

Рассказ

Метель своими колючими крыльями разъяренно бьет Вере в лицо. В коротком жакете и полушалке она стоит посреди дороги у едва заметной из-под снега вехи и, щурясь от назойливой пыли, в нерешительности смотрит вперед.

Невдалеке, черный, как полынья, раскинулся лес. Близ него обреченно вязнут в снегу изгородь и открытый отвод.

Вера отрывает глаза от этого неприглядного пейзажа и оборачивается назад. Там виднеется слабо очерченный и головастый, как рахитик, силуэт толчеи. За ней, в каких-то черных провалах, мерцает несколько огоньков.

Это — хутор. Сейчас Вера раздумывает, — то ли вернуться назад и там выпроситься ночевать, то ли, выбросив из головы всякие страхи, идти этим двухкилометровым лесом домой.

Если переночевать на хуторе, это значит показать свою трусость и дать новый повод матери для удержания ее дома. На хуторе не хочется ночевать и по другому. Проходя сейчас мимо него, она видела, что в маленькой избенке сапожника огня не было, в других же двух крашенных, пятистенных, хозяева до того жадны и мнительны, что всю ночь будут следить за ней, как бы чего не украла.

— Нет уж, пойду домой, — решает Вера и снова поворачивает лицо под ледяное и резкое дыхание мятели.

Только вчера с курсов младших рулевых их шло трое: она, Катька Потапова и Нюрка Шустова. Нюрку Шустову больше не отпустила мать, а Катька сама не захотела учиться.

Сегодня вечером, когда Вера собиралась на курсы, мать, как только могла, упрасивала ее:

— Не ходи-ка, дочка. Сгинуть, что ли?.. Шутка ли шестнадцатилетней девчонке лесом ходить по ночам. Соседи-то меня всю изругали.

— Сгинуть что ли? — отзывается в памяти Веры и ее все больше и больше охватывает безотчетный страх.

Чуть склонившись вперед, она настороженно идет по заметной снегом дороге. Уже остались позади и вехи, и отвод с изгородью, перед глазами промелькнули, как спящее стадо овец, кусты можжевельника. А вот Вера обогнула три знакомые сестры-березки. Мятель заметно стихает. Знакомые рощи отделяются от сплошной



массы и, как черные льдины, подплывают к ней и окружают со всех сторон.

Зябнут руки. Она их глубже прячет в рукава и время от времени бросает короткие взгляды по сторонам.

Теперь кругом, кроме наступающих на нее угрюмых роц, не видно ничего. Вершины неистово завывают и под эту жуткую музыку воображение рисует самые страшные картины.

Вот у сугроба, молочной волной отпрянувшего от дороги, сидит стая волков. Волки помахивают хвостами и скалятся.

Остановившись, Вера обрывает дыхание и боязливо смотрит туда.

— Сено... Видно воз повалило, — догадывается она и бежит мимо.

Самое страшное место впереди: это — «чортова лысина». «Чортова лысина» — сплошной зыбун, охваченный кольцом роц. Летом там вязнут лошади. Три года назад там потонул пьяный кузнец, а в голодовку у лужи, где оборвалась жизнь кузнеца, грабили баб и мужиков.

По мере приближения к «чертовой лысине» из Веры, как тепло из избы при раскрытых настежь дверях, выветривало последние остатки напускной смелости. Но она все-таки, пряча все глубже в рукава никак не согревающиеся руки, бежала и бежала к «страшному» месту.

И вот слева давно тянувшаяся по над самой дорогой сосновая роца, словно поссорившись с ней, круто и далеко отступает в сторону. Справа редкие березки и соснячек тоже семят от зыбуна.

Сзади слышатся торопливые шаги.

— Ага, попалась, — чувствует Вера на плече чьи-то руки...

...Но это мятель... Свирепая, она неожиданно набрасывается из белесого простора и концами холста, только что снятого с наста, увивает лицо и голые колени девушки. Пурга захватывает дыхание, бросает в короткие голенища валенок горсти жесткого, как соль, снега и не дает итти.

— Пропадешь... Не выучишься, сгинеешь... — свистит в ушах.

На глазах выступают слезы, сначала холодные, выжатые морозом, но вот они согреваются и одновременно к горлу подкатываются горячие, как поджаренный на сковороде горох, камешки.

Теперь Вере не страшно. Теперь она вспоминает позапрошлую зиму и вся горит на жарком костре обиды.

Ее тянуло к швейной машине. Целыми ночами думала она о машине. А во сне говорила с ней, как с задушевной подругой, целовала ее и, распевая песни, шила.

— Мама, отпусти учиться на портниху.

— К кому, дочка?.. Не к кому...

— К Семеновой Оле.

— Не возьмет, дочка. Вся семья на отца сердится, что прописал в газете.

— Попроси, мама, — я пойму в одну зиму.

И вот, вечером в несусветную пургу они пошли на маленький

хуторок, отброшенный за полверсты от деревни, к большому двухэтажному дому.

Верхний этаж пугал своей мертвой чернотой, но угловая комната нижнего этажа вся заливалась светом двух «молний». Комната блестела машинами, стоявшими на большом столе, и цвела одуванчиками русых голов.

Они подошли к воротам и постучались. Хлопнула дверь, и ласковый, как лисий хвост, голос спросил:

— Кто там?

— Я, Оленька... Мы это. С Верунькой пришли.

— Ну? — приближался к воротам внезапно похолодевший голос: — Что надо?

— Не возьмешь ли, Ольга Васильевна, девчонку-то?.. Слезами изошла...

— Не беру больше! Не надо!

И, обождав немного, добавила:

— Может и взяла бы, да больно хороши сами.

И Вера плакала горячо и неудержимо всю вьюжную дорогу и всю ночь.

О, как ей хотелось задушить эту счастливую вековуху Олю и изломать все ее машины!

Мятель снова стихает, а по обеим сторонам дороги, образуя просторный коридор, встают высокие шумящие рощи. Тверже и дорога.

Теперь Вера вспоминает избучитальню, где проводят занятия курсы трактористов.

— Это — дифференциал, — говорит руковод, показывая на доске только что законченный рисунок: — Он состоит из коронной шестерни, крестовины и сителитов.

— Сителиты... — шепчет Вера: — Постой, как же они пробуксовывают?.. Ага, вот как...

Теперь думы о тракторе, которого она никогда не видала, но так же полюбила, как швейную машину, захватили ее всю. Захотелось посмотреть на него вплотную и потрогать мудреные части.

— Вер-э-э-э-й!.. Вера-а-а-а... — доносится из-за рощи еле слышный голос.

— Что это? — останавливается Вера: — Неужели вышла встречать?..

— Ма-а-а-ма! — сделав рупором руки, кричит она и, вострепнувшись, в припрыжку бежит по воющему коридору.

Встретились они на повороте дороги, огибавшей низкорослый осинничек. Мать, маленькая старушка, в желтом полушубке и мужском башлыке вместо шали, подошла к дочери и долго смотрела на нее. Под мышкой у старушки торчали подошвами вперед большие серые валенки.

— Измерзла поди?.. — жалостливо улыбнулась она и, наклонившись, сунула в верин валенок руку.

— Ну, мама... Руки-то холодные... — отскочила дочь.

— Сырущие какие... На отцовы!..



— Куда их! Я не озябла, — улыбнулась Вера. — Пойдем, мама. Встали на ветру.

— Переодень, дочка... Смотри, и все так... Подем-то вьет — свету белого не видно.

— Давай, только я там надену, у забора.

— Ой горе!.. Ой горе!.. — отдает старушка валенки: — Измучилась ведь я, ждавши. Лошадь нанимать хотела...

— Еще чего не выдумай...

— Ой горе... Ой горе... — семенит старушка, стараясь догнать дочь...

Вместе они некоторое время идут молча; потом старушка, заглядывая в спрятанное в полшалок лицо дочери, вкрадчиво начинает:

— Веруня... Что я надумала? Продадим мы телку-то, да и купим тебе машину. У Зинки Беспаловой поучисься.

Вера останавливается и долго смотрит на мать.

— Зачем это?.. Когда шить-то?..

— Да вот и будешь шить. Курсы эти бросишь.

Вера снова молчит, потом отвертывается от матери и глухо говорит:

— Никакой машины не надо. Не надо, мама... Пойдем...

У самых ног Веры воронкой подымается поземка и, лизнув, как собака, в лицо, напуганно улетает в сумрак. В осинничке на все голоса свистит и шумит ветер.

---

В апреле только что организованная машино-тракторная станция получила тракторы и всех вызвала на практические занятия.

Счастливые дни... Во дворе станции стоит не один, не два, а тридцать семь тракторов. Около них все время суетятся курсанты.

— Сегодня будем разбирать... Вот это да!..

26 апреля курсы закончили свои занятия и дирекция МТС всем курсантам выдала печатные и несказанно дорогие удостоверения.

Этого дня Вера не забудет никогда. На торжественном собрании за прилежную учебу ей объявили благодарность и сам директор в своем докладе упомянул про нее.

У красного столика в поношенном красноармейском френче и остриженный шариком он говорил энергично и вдохновенно.

— Значенье трактора не только в том, что он делает полную революцию в хозяйственной жизни деревни. Он, товарищи, на ряду с межами и пустырями, заросшими лебедой и белоусом, уничтожает все уклады старого быта. Он из этого быта вырывает женщину. Ничего не видавшую, отсталую девушку он ставит в первые ряды строителей социализма. Вера Карпова, сегодня окончившая курсы трактористов, не будет целую жизнь возиться около печки, зависеть от мужа, считать себя слабей его и замыкаться, как в скорлупу, в свою семью. Она будет прежде всего добросовестным рулевым, энтузиасткой и общественницей.

27 апреля всех трактористов отправили на производственные

участки, чтобы в оставшиеся до сева дни они могли ознакомиться с почвой, расположением земли и подготовились к выезду в поле.

Вере достался самый дальний участок, а в колхозе, с которого должен начать работу ее трактор, Веру, бригадира, Шурку Кирьянова, тракториста Косульникова встретили недоверчиво, как воров.

Чтобы разместить их на квартиры, председателю колхоза пришлось собирать сход и битых два часа убеждать колхозников, что трактористы такие же люди и на воле спать не могут.

Особенно яро защищала от трактористов свою избу одинокая старуха, по прозвищу «Тигра».

Тигра — мать раскулаченного владельца двух маслобойных заводов. Но последнее время она жила порознь с сыном. В колхоз ее приняли беспрекословно.

Теперь она, то и дело подходя из-под полатей к столу, кричала: — А почему я знаю, кто они такие... Я старуха, — у меня никого нету...

Других колхозниц, сгрудившихся под полатями, Тигра была выше на полголовы. Сухопарая, с седыми прядями волос, поземкой струившихся с непокрытой головы, и в черном белыми горошками платье, она поджимала желтой рукой резко выделяющиеся скулы и бросала то на предколхоза, то на трактористов сердитые взоры.

Тракторист Косульников, сидевший у стола, бок о бок с председателем, сплюнул на пол и разозленными глазами подхватил взгляд Тигры.

— Ведьма ты что ли? Чорт ты знает... Уши оглушила...

Тигра скрестила на груди руки и запутала глаза в рваной тулупке тракториста.

— Так ведь сами же от меня уйдете... Готовить я не буду. — Было бы сказано... И дом не запертым не оставлю.

— А ну тебя! — отвернулся Косульников: — Товарищ председатель, к ней только меня не назначайте... Я ее задущу в первую ночь...

— Бабушка! — запахивая серую жакетку, встала с лавки Вера: — Возьми меня... Мы сговоримся... Вот погоди...

Она хотела было улыбнуться и не могла, — таким «дружеским» взглядом «наградила» ее Тигра.

---

Первую смену Вера проработала хорошо. Трактор шел послушно и ей даже было обидно, что бригадир то и дело прибегал к ней наведываться.

Но на второй день случилось несчастье. На самом завороте трактор неожиданно захлопал и стал.

Вера, не помня себя, свернулась с сиденья и подбежала к мотору. Обследовав все, что вызывало сомнение, она решила завести и также расторопно побежала к радиатору. Придерживаясь левой рукой за ребро колеса, она несколько раз пробовала вертеть ручку и каждый раз напрасно. На все старания фордзон отвечал лишь отрывистыми хлопками и упорно не хотел работать.



Измучившись Вера отошла к заднему колесу и, прислонившись к крылу, задумалась.

Вздрыгнула она от шумящих по жнивью шагов. Стараясь казаться равнодушной, Вера нехотя повернулась и невольно затаила дыханье.

Неподалеку стояла ее хозяйка — Тигра.

Такая же, небрежно-простоволосая и в черном белыми горошками платье, она не мигая смотрела на Веру.

— Эх, девка, девка...

Старуха кашлянула и, нескладно мотнув правой рукой, подошла ближе к ней.

— Да девичье ли это дело?.. Изо всей округи одна нашлась.. Волю-то дали...

Вера зло посмотрела на старуху и, собрав брови в одну полоску, пошла к мотору.

Тогда Тигра подошла к ней.

— Тебе-то стрекозе шутка... А с отца да с матери за все взыщут... На второй день машину изломала... Экая бесшабашная...

— Уйди...

— Куда уйди? — замерла старуха: — Не любо?.. Бить тебя стерву надо!.. Бить!.. Супорень! бездомовая!..

— Уйди, говорят! — крикнула Вера и потянулась рукой к поплавковой камере.

— Не смей доламывать!.. Не смей!.. Ага... Ага... Ну, так погоди, я в деревню схожу!.. Мы на тебя найдем управу!..

Торопливой походкой, прямо по пашне, старуха пошла в деревню, а Вера, еле сдерживая слезы все возрастающей обиды, нервно засуетилась у трактора.

Минут через двадцать прибежал бригадир Шурка Кирьянов.

— Что, Вера?.. В чем дело?.. — торопливо и ободряюще начал он свои распросы.

— Не знаю, — тихо ответила она.

Бригадир попробовал было завести, но трактор лишь стрелял, как редкими очередями пулемет, и он, сбросив с плеч серый промасленный пиджачек, метнулся к мотору.

С другой стороны трактора Вера изподлобья смотрела на быстрые руки бригадира и не замечала, что именно он делает. В синей спецовке она стояла не шевелясь, как пугало.

Вера чувствовала себя разбитой и ничтожной.

«Она не знает трактора. Не может поправить ничего. Правду сказала Тигра, — это — не девичье дело. У Косульникова не изломался. У ребят не изломается никогда... А у нее через неделю будет авария».

Она закрыла глаза и ее полное лицо побледнело.

«Зачем же она училась? Зачем так мучила себя и мать?.. А теперь мать беспокоится за нее еще больше... Беспокоится как за девушку, потому что она живет за восемь верст от дома, одна в чужой деревне... Мать может думать что угодно... И от этого она зачахнет...»

Вере до того стало жалко мать, что на время она забыла даже про изломанный трактор. Ей захотелось повидаться с ней и поговорить по душам про все. Она теперь испытала, как жить в чужих людях с этими «тиграми» и ценит свою старушку, как никогда.

И вот Веру сквозняком охватила одна мысль.

Тигра разозлилась еще больше. Тигра обязательно изломает ее трактор. Обязательно... А тогда она пропала совсем. Тогда ее засудят.

— В коммутаторе сломался сегмент. Давало обратный ход, — бросил бригадир через керосиновый бак Вере...

Потом он снова склонился к мотору и забормотал:

— Так и есть... в карбюратор выбрасывало воду. Ну, ничего, мы сейчас... Вера, да иди сюда!..

Минут через пять трактор завели и он попрежнему стал добросовестно работать.

— Садись и поезжай, — вытирая грязными тряпками руки, белозубо заулыбался Шурка.

— Я... Я... Шура, больше не буду работать...

— Как не буду? — выронил он тряпки.

— Так... Я... Шура...

Шурка посмотрел на нее недоумевающими глазами и мягко начал:

— Ты что, Вера? испугалась?.. Ты брось... Такая ерунда часто бывает... Это я виноват... А через неделю ты все узнаешь...

Из деревни, которая была похожа на стадо сказочных великанов животных, отдыхающих в тени редких деревьев, вышла небольшая группа мужиков. Около бани на лужайке они остановились и стали закуривать, а немного погодя, вероятно, решив, что трактор в порядке, они гуськом потянулись к деревне.

---

Привязанная к огороду рыжая лошадь тянулась к молодой травке и била по седлу концом хвоста. Влево от нее, вонзив в землю, как острые когти, блестящие плуга, управляемый Верой шел трактор. Вправо на лугу лежали на животах бригадир Шурка Кирьянов и массовик МТС Петя Черкасов.

Шурка и Петя — одногодники и по внешности во многом похожи друг на друга. У того и другого были лохматые, темные волосы, широкие лбы и живые глаза. Вся разница состояла в том, что у массовика щеки были ровные как лист бумаги, а у бригадира они бугрились. И еще разница была в костюмах. Бригадир лежал в серой промасленной паре и простых ботинках, а массовик в синей толстовке, коричневых брюках и белых, как чайки, полуботинках.

Шурка и Петя немного знали друг друга еще до МТС и теперь они, послав подвернувшегося мальчишку в деревню за Косульниковым, болтали о чем попало.

— Житье тебе, Шурка, малина... Ты, наверно, целый день только и торчишь у нее...

— Ну, нет... В других колхозах бываю больше...



— Едва ли...  
— Честное слово. Здесь я надеюсь на нее. Девченки вообще... не то чтобы трусливые, а так какие-то... Чувства ответственности в них больше, и упрямые. В самом деле, Петька, если бы в МТС была она не одна, лучше бы было...

— Завел. Без тебя это знают, философ... Нет, ты скажи, со мной она стала бы гулять?.. — посматривая на удалявшийся трактор, улыбался массовик.

— Нет, наверно, — переходя вновь на беспечный ребяческий тон, шурился бригадир.

— Ах, ты, чорт!.. А с тобой будет?..

— Спроси... Впрочем, не стоит... Она ведь знает, что я женатый... А вообще-то, мы с ней дружим...

— Между прочим, — переходя вновь на серьезный тон, начал Шурка, — она молодец, вчера вспахала полтора га.

Вскоре озабоченность и серьезность потушили игривый огонек и в глазах массовика.

— Так вот что, Шура, — перевернулся он на бок лицом к нему. — Один трактор угробили, картер разбили. В Андалове мужики прогнали трактористов совсем. Испортили пашню. Хуторским это на руку. Хуторские начинают работать всерьез.

Он достал из грудного кармана толстовки вырезку из газеты и подал ее Шурке. Шурка взял ее и, неровно разостлав на земле, принялся читать.

## ХУТОРА—КУЛАЦКИЕ ГНЕЗДА

«Столыпинская реформа особенно глубоко пустила корни в нашем районе. Хуторских крестьян у нас приходится на половину, а по некоторым сельсоветам и больше.

Что же из себя представляют хутора?..

Это — горсточки хозяйств, где прочно засел какой-нибудь маленький Тит Титыч и крепко держит в своих руках два-три других хозяйства бедняков. Как правило, коллективизация хуторов происходит путем примыканья их к ближайшему колхозу, что сейчас является очень трудным, так как хуторские бедняки оторваны от всякой культурной и политической жизни.

Вдобавок с кулаками-однухоторянами в большинстве случаев они имеют родственные связи и, вместо классовой борьбы, крепко держатся за них.

Хуторские кулаки давно поняли, что на основе сплошной коллективизации они будут ликвидированы как классово-чуждые элементы; поэтому сейчас они ведут всяческую борьбу против коллективизации и в первую очередь в районе деятельности МТС против машины — немого, но самого активного агитатора за новую жизнь».

Эти простые газетные строчки взволновали Шурку, как хорошо

продекламированные стихи самого лучшего поэта, и он, не дочитав до конца, повернулся к Пете.

— До чего здорово!... И голова же у этого писателя!...

— У кого?...

— Да вот у этого...

Он перевел глаза на заметку, чтобы прочитать фамилию автора, и открыл рот.

«Массовик МТС П. Черкасов» — толстым шнурком тянулось под заметкой.

— Петька!... Друг!... А я-то и не посмотрел...

— А, чорт!... Оторвалась!.. — вскочил массовик: — Венерка!... Венерка!... Куда ты?...

Лошадь проворно шла по перегороде к лесу и жадно смотрела на зеленевшие за ней озими...

— Венерка!... Венерка! — высоко взметывая белые полуботинки в обгон ей, бежал и кричал массовик.

В это же время по перегороде, только с другой стороны, от деревни, споро шагал тракторист Косульников.

---

Лошадь попрежнему стояла у перегороды и щипала молоденькую травку. Влево от нее стоял трактор, а вправо на лугу, образовав кольцо, сидели трактористы и массовик машино-тракторной станции.

Он делал доклад и возбужденными глазами ловил в выражениях лиц впечатления от его слов. Массовик говорил о все возрастающей агитации хуторских кулаков против машины и коллективизации и призывал трактористов быть на-чеку каждую минуту и на деле доказать, что только колхоз и машина могут поднять сельское хозяйство.

— Внимательное отношение к машине и ударная работа — вот ответ кулакам!

— Товарищи! А сейчас я вам прочту вызов тракториста Зимина с Курдумовского участка.

Он встал на колени и достал из грудного кармана толстовки небольшой клочек бумаги.

— Ну, так слушайте:

#### ВЫЗОВ

*Как осознал, что мы трактористы призваны доказать единоличному сектору, и особенно хуторским, всю силу МТС и кроме того большевистская весна есть также пятилетка в четыре года, то и вызываю своего сменщика и всех трактористов других участков на социалистическое соревнование и ударную работу.*

*Даю слово запахать за смену на средней земле не менее двух га и ни одного полома трактора.*

*Зимин.*

Массовик оторвал от листочка глаза и опустил на каблучки.

— Ну, что?... Принимаем вызов?



— А сам то он спашет? — нахлобучил на глаза большую серую кепку Косульников.

Вернув по Косульникову недовольными глазами, массовик глухо ответил:

— Раз вызывает, так ясно делает.

Вера сидела между Косульниковым и Шуркой. В белой кофточке и без платка она казалась еще моложе, но в то же время ее загорелое и полное лицо выражало не по возрасту четкую осмысленность и серьезность. Ее негустые, подстриженные под «фокстрот» темнорусые волосы скромно лились по виску, и ветер также скромно шевелил над ухом самые кончики их.

— Ну, как Вера? Принимаешь вызов? — повернулся к ней Шурка.

— Вызов-то? Много кажется, — улыбнулась она.

— Брось, Верка!.. Вспашешь!.. Честное слово, вспашешь!

— Ну? Разве? — дружески посмотрела на него Вера: — А вот обождите: я подумаю.

Сначала она сощурилась, потом, сделав руки в замок, опустила на них глаза. Так она проверяла последнюю, самую удачную свою смену.

— Три десятых, — про себя говорила она: — Потом — сырые концы... Потом — на заправку ушло больше... Потом...

— Ребята, а верно: можно вспахать. Я пожалуй согласна. Только условие — свечи чтобы были всегда и потом — запасные сегменты.

— Все будет, — закивал массовик. — Так дело теперь за Косульниковым...

— А мне что, — словно ждав этого вопроса, быстро ответил Косульников: — Как они будут делать, так и я. А вообще-то, это — буза. И хуторские опять... Такие же мужики, даже лучше.

Дуже сложенный, и в рваной синеватого цвета тужурке, он неожиданно встал и, нахлобучив на самые глаза механку, отвернулся.

— Товарищ Косульников, так как? Принимаешь? — неуверенно спросил массовик.

— Я же сказал, — повернулся он: — А вообще-то я думал, — ты приехал поговорить о жалованье. Главное, прошлое лето жил в пастухах, и пятьдесят рублей зажилили.

— И о зарплате поговорим, — уже веселее сказал массовик.

Косульников, невольно улынувшись, вновь опустил на траву.

---

Приняв вызов на соцсоревнование, Вера стала еще внимательней следить за машиной. Стала тщательнее заправлять ее перед работой, прочищать самые капризные части, а после смены, где-нибудь в поле (домой к Тигре итти не хотелось), целыми часами просиживала за книжечкой «Что надо знать начинающему трактористу».

Много еще было непонятного в тракторе. Не знала всех его капризов и причин, порождающих их. Книжка на все вопросы тоже

не могла ответить; поэтому, часто закрыв ее, она бежала разыскивать Шурку, чтобы вместе разобратся в непонятном. Однажды вечером они сидели у перегоры и читали только что купленную книжку о тракторе Фордзон.

Большое солнце пылало над самой землей, как костер. Над черной картой только что засеянного поля звенели жаворонки. Жаворонки словно рассказывали о красоте весеннего вечера и настойчиво, как самые радушные хозяева своих гостей, упрасивали Веру и бригадира хоть на миг оторваться от книжки.

Вскоре они и на самом деле одновременно подняли головы.

Шагах в трех от них, загораживая собой край пламенного солнца, стояла Тигра. За ее плечами пучилась большая вязанка ивового корья. Самые длинные плети, как отеки, бежали по ней и путались в складках черной желтыми горошками юбки.

Встретившись с Верой глазами, Тигра подбросила вязанку и подтянула ее на самые закорки.

— Где драла? — весело спросил Шурка.

— В лесу, — прохрипела старуха и неторопливо пошла по перегороде.

Шурка проводил ее пристальным взглядом и машинально взял из фуражки, которая лежала подле него, пачку папирос.

— Вот злыдня.

— Да, — нехотя отозвалась Вера.

— Дура. И везде суется. Над ней теперь смеются, что тогда собрала мужиков.

Бригадир затыкнулся под ряд два раза и, надев на лохматую голову фуражку, встал.

— Ну, ладно, Вера... К Косульникову побегу. Напахал он вчера плохо. Видела?.. Все пласты на ребре... А полевод не смотрит...

— Он или неправильно установил плуга, или пахал пьяный, — подняла глаза Вера.

— Да... да... что-то есть, — задумался Шурка.

Вера подобрала книжку с маленьким блокнотом и встала.

— Шур, ты скажи ему, чтобы пахал как следует. Хуторской мужик вчера уповод смотрел на меня... Да и вообще неудобно. Соревноваться так уж соревноваться, как следует.

— Ясно, — глухо ответил бригадир и нахмурился.

---

Утром коров провожали до самого прогона, и у крайнего дома всегда останавливались бабы. Сегодня под мычанье и топот уходившего стада все говорили о плохой работе трактористов.

Ломая в правой руке маленький прутик, веснушчатая женщина говорила часто, как сорока:

— Андрияна-то раскулачили, а вот и помянешь добрым словом. Говорил он, что трактор испортит поле, так и вышло...

— Бабы, а бабы! — начала Тигра: — Это все фатеранка моя. Из-за нее это. Иду я вчера по перегороде, а она сидит со своим старшим в обнимку. А наемни с Косульниковым видела. Вот... Про-



валандается она с ними, а потом и пашет как попало. Да и у ребят старанья нет. Все из-за нее. Ей что — нас без куска хлеба оставить? Тьфу, и все...

Она подумала и снова зашептала:

— Бабы! — Сходить к ейной матери, да и рассказать все. Вот, мол, полюбуйся какая дочь-то... Все ребят перелюбила... А еще сказать, чтобы домой уводила.

---

Вечером, когда Вера с книжкой в руке шла по деревне, от колдца несколько женских голосов ножами прорезали тишину.

— Шлюха... Домой уходи... Нечего...

Вера сжалась, как от холодной воды, и под смех баб бессмысленно остановилась посреди улицы.

---

На все это увлеченная работой Вера на другой же день махнула рукой.

Работала она это утро на целине, громадным листом цинка поднимавшейся от реки к дороге. Ей хотелось как можно скорее и лучше вспахать эту, веками пустовавшую землю, и настроение у ней было повышенное, как в праздник.

Она была уверена, что каждый мужик невольно заинтересуется ее пашней и время от времени выжидающе посматривала на дорогу. В неизменной спецовке и в сером, повязанном только на волосах, платке она сидела за рулем и уверенно управляла машиной.

Хорошее было утро. Яркое солнце стояло еще невысоко и не палило. Только что отваленные пласты блестели, как/полоз мартовской дороги, и поднимали в Вере горячую волну радости. За рекой, у самого леса, грудились сизые постройки хутора; за дорогой, близ деревни, на лошадях пахали колхозники.

Этот старичек пришел не с дороги, а от реки. Сивобородый и без кровинки в лице стоял посреди пустыря у пахоты и, скрестив на холщевой рубахе руки, сосредоточенно смотрел в борозду. Когда Вера совсем близко подъехала к нему, он отошел от пахоты и также сосредоточенно уставился на черные соты радиатора.

Поравнявшись с ним, Вера переключила трактор с рабочей на первую скорость и, повернувшись к нему, весело крикнула:

— Что, дедушка? Ты не из комиссии?

Старик быстро подошел к трактору, замедлившему ход, и замал руками.

— Ой, что ты, матушка!.. С хутора я... Верши ставил, да и пришел.

— Посмотреть?..

— Да, да. Для любопытства.

— Так ты садись, дедушка, на трактор. Вместе и будем пахать.

Прислонившись к крылу, он стоял на заднем мосту и улыбался радостным, как отродившаяся березка, лицом. Через голову Веры и керосиновый бак ему было видно бежавшие навстречу черные

волны пластов и он любовался ими. Но чаще того он переводил глаза на плуга и восхищенно смотрел, как поднимались на лемеха мощные пласты.

Вера крепче сжала в руках колесо руля и вскинула на старика глаза.

— Что, дедушка?..

— Хорошо, матушка. Вот бы на мою полосу. Берет много.

Его голос почти терялся в бормотании мотора, но Вера привыкла к нему и ясно слышала своего собеседника.

— А на мягкой земле еще лучше, — весело крикнула она.

Домой старичек ушел часа через полтора, а вскоре после его ухода на пустыре появился рослый мужик в красной рубахе.

Когда Вера подъехала к нему, он заискивающе улыбнулся и ловко вскочил на задний мост.

— Что вы, гражданин, с ума сошли! — резко бросила Вера.

— Не пугайтесь! Не пугайтесь! Я не лихой человек. Косульникова бы мне надо. Впрочем, нет... Я так...

— Он — в ночь сегодня.

— Ну и ладно, а я к вам больше. Остановили бы машину-то..

— Что такое?..

— Да поговорить бы надо.

— Я разберу, — говорите.

Мужик взял в кулак недавно отпущенную черную бороду и припал к самому уху Веры.

— Барышня, а я к вам за советом: тут в одном колхозе трактор изломали. Трактор-то мужиков, а виновых не нашли. Вот они и допытываются, как изломали.

— Где? в каком колхозе?..

— Да это не здесь. Там моя сестра выдана. Меня-то очень заинтересовало, как можно изломать такую машину. И мужики тоже наказывали, как у нас мытесс и опытные трактористы, так чтобы спрашивал.

— Вопрос, что изломали.

— Да просто не идет. Весь разбило. Нутро — механизмы испорчены.

— Блок лопнул?..

— Во, во, блок должно. Отчего бы, я думаю, ему лопнуть?..

— Отчего? От перегрузки может лопнуть. Дай полный газ да включи третью скорость, ясно — лопнет...

— Третью скорость... Вот оно что. И, думаешь, лопнет?.. А как это включать барышня?

— А вот сюда, — показала Вера, и тут же быстро повернулась к мужику.

— Постой... А вам-то зачем?.. Вы откуда, товарищ?

— Я тут живу. Я не дальний. Да оно, как сказать, и не ближний. Однако мне домой пора. Всего доброго, барышня!

Он насильно улыбнулся и, одернув красную рубаху, проворно соскочил с трактора.



— Всего доброго! — еще раз улыбнулся он с земли и крупно зашагал к лесу.

В тот же день вечером около деревни Вера встретила с хуторским старичком. Теперь он был одет в потертый драповый пиджачек и вообще выглядел по-праздничному.

— А я к вам ходил, матушка. У председателя хотел овсеца попросить, да дома-то нет.

— Дедушка, у вас на хуторе есть у кого-нибудь красные рубахи?..

— Есть, матушка, и у Гаврилы Платоныча есть.

— Он что — не кулак?..

— А я ведь, матушка, не понимаю. Спекулянт он больше. Тут с вашей старухой маслом спекулируют. С Тигрой стало быть.

Мимо на крашеной двуколке проезжал рыжебородый, в такие же годы старик, и собеседник Веры дружески закивал ему.

— Садись, подвезу! Чивой любезничаешь? — весело закричал тот, останавливая лошадь.

Старичек, заощипывая пиджачек, попятился от Веры.

— До свиданья, матушка! А красные рубахи у нас имеются. Вам что? не для спертакля?..

---

Вера сразу же пошла в деревню и, разыскав Шурку, рассказала ему все.

— Главное, Косульников спрашивал! И опять — Тигра! — горячилась Вера.

— Да, да, — кусал нижнюю губу Шурка: — Тут что-то, есть.

За Косульниковым и Тигрой они решили наблюдать каждую ночь.

---

На жарком солнце жарко горит керосиновый бак. Поблескивает и руль. По накипи белоуса трактор идет ровно и смело. Вера прислушивается к звуку мотора и изредка посматривает на плуга. Они упорно режут целину и ровные пласты плотно приваливают друг к другу. На черной зыби пахоты не видать ни одного клочка травы, и Вера, лаская возбужденными глазами поднятые гектары, радуется своей работе.

Обернулась в сторону неспаханной земли и задержала глаза на маленькой тычке, чуть видневшейся из седого белоуса. Тычкой отрублено два гектара. Сейчас до нее от пахоты не больше восьми метров.

— До смены — часа три. Вспаху обязательно, — подумала Вера.

Снова перед глазами керосиновый бак и масляные руки, твердо охватившие обод руля. Трактор идет послушно и смело. Он не заикапризнает. В этом она уверена. А еще уверена в том, что она с ним выйдет победительницей и в социалистическом соревновании.

— В социалистическом, — твердит Вера и старается от слова до слова вспомнить разговор по этому поводу с Шуркой.

«Раньше тоже соревновались. Работали взапуски: кто кого обгонит. Обгоняли самые жадные. Какое же это соревнование? Кулацкое что ли?.. А социалистическое это — когда работаешь не для себя... Ну, да, не для себя... для всех».

Эти думы опьяняют Веру и ей хочется рассказать кому-то близкому о всей радости нового труда.

На лужайке, у самого леса, Вера замечает знакомую фигуру матери. Она идет тихо и, словно разыскивая потерянную вещь, напряженно смотрит себе под ноги.

— Мама! — радостно кричит Вера и привстает на сиденьи.

---

У заглушенной машины давно уже сидят они и ведут мучительный для обеих разговор. Вера мнет грязный рукав спецовки и испуганными глазами смотрит на мать.

— Да что ты, мама!.. — как от зубной боли кричит она и вскакивает на ноги.

Вера подходит к трактору и, привалившись к его крылу, долго и безразлично смотрит на пахоту.

Старушка молчит тоже и исподлобья посматривает на дочь.

Она давно уже поняла, что на Веру наговорили, и чувствует себе виноватой за весь разговор. Теперь увести ее домой от этих чужих и недоборых людей она решила бесповоротно.

Старушка встает, неторопливо подходит к дочери и трогает ее за плечо.

— Вера, брось ты все это! Тебя здесь ославят на всю округу. Пойдем, дочка, домой. И я одна измучаюсь.

— Никуда я не пойду, — погода немного глухо отвечает Вера.

— Ну как, Вера, не пойду? Шутка ли одной жить в чужой деревне?

Не дождавшись ответа, мать обходит крыло и, остановившись у крюка, смотрит в лицо дочери.

— Пойдем, Вера, а?.. И работать не начинай. Придет смена, — сдай все и пойдем. В саду теперь у нас хорошо стало. Яблонь твоя вся в цвету.

Вера вздрагивает и, быстро убрав с крыла руку, смотрит мимо матери на пашню.

— Мама, да ведь мне некогда! Мама, иди домой!

Некоторое время она тревожными и в то же время упрашивающими глазами смотрит на мать, делает движение к ней, но тут же раздумывает и торопливо идет к радиатору.

— Мама, отойди в сторону! — кричит она и, не дождавшись ответа, наклоняется к заводной ручке.

Разбуженная машина неистовствует, как трещетка, и выфыркивает целые охапки резко пахнущего бензином дыма. Вера, взглянув на мать, торопливо семенящую от трактора, идет к мотору и, открыв керосиновый кран, начинает регулировку газа.



Тогда мать решительной походкой подходит к ней и берет за руку.

— Вера!..

Вера снова в какой-то нерешительности смотрит на мать, но через несколько мгновений, оборвав на лице мелкую дрожь, берет ее за руку и отводит в сторону.

— Мама, некогда мне! Нельзя! Иди, мама, домой.

---

Жарко блестит на солнце керосиновый бак. Собрав брови в одну полоску и чуть склонившись вперед, Вера твердо держит обеими руками колесо руля. По накипи белоуса покорный и ритмично бормочущий трактор ровно и смело идет вперед.

---

На другой день к Вере снова пришла мать. После смены они бродили с ней по полям и не могли наговориться.

Старушка теперь и не думала уводить Веру домой. Она лишь жалела, что у нее не такая хозяйка и что сама она сюда не может ходить каждый день.

Наблюдать за Косульниковым в эту ночь приходилось Вере и когда совсем стемнело, они с матерью сидели в ольшаннике у реки. (Тигре Вера сказала, что пойдет провожать мать и не вернется до утра).

— Не простудиться бы, Веруня, — заговорщически тихо сказала мать, поглядывая сквозь ольшанник на темную полосу воды.

— Ничего, мама, тепло, — так же тихо ответила Вера и отрянула с рукава серого платья шелуху прошлогодней листвы.

Посидев немного, она встала и внимательно посмотрела по сторонам.

Невдалеке, бросая перед собой дрожащие лучи света, бормотал трактор. Он шел от реки к дороге и был как раз на середине пустыря. Косульников ссутулившись сидел за рулем и время от времени сладко попыхивал папироской. За пустырем над темным лесом белой стружкой закруглялась луна. В поле, от самого леса до деревни, кроме трактора, не было ничего. И оно, еще не сплошь вспаханное, похоже было на большое, черное одеяло, здесь и там заплаченное сероватыми клиньями нетронутой земли.

— Газует, мама, газует, — прислушалась Вера: — Да что это он?..

Старушка встала и не зная, что ответить, пристально посмотрела на трактор.

— Вот это, мама, неправильно. Так перерасходуешь керосин и можешь изломать машину.

— Все то ты, Вера, знаешь, — с нескрываемым восхищением посмотрела старушка в лицо дочери.

— О... Теперь-то знаю. Теперь-то, мама, закрою глаза и все части трактора вижу, как на картинке. И поломы одна поправлю.

Бормотанье трактора стало ослабевать и вот на них крыльями жар-птицы взмахнулись полосы света.

— Садись, мама. Это он завертывается.

Они опустились на землю и долго сидели молча. Бормочущий трактор уверенно приближался к ним.

— И тебе не надоело?... Прижалась к Вере своим плечом старушка.

— Что ты, мама? — Трактор ведь.

Она помолчала и мелко, как вода от нырнувшей щуки, встрепнулась.

— Мама!... А года через два я буду механиком. А тогда тракторов у нас будет не тридцать семь, а больше ста.

— Мам., а теперь мы соревнуемся. Интересно... Сегодня я сделала больше всех и Шурка говорит — я первая ударница по Эмтеэс.

Когда трактор завернулся и пошел снова к дороге, они встали, и Вера вновь внимательно осмотрелась по сторонам.

Она уверенно ждала чего-то и заражала мать этой уверенностью. И когда Вера как-то особенно осторожно взяла ее за руку, у матери похолодело в груди.

— Мама, смотри-ка... Видишь... Это — Тигра.

Вера говорила таким голосом, что можно было подумать, — она и на самом деле видела настоящую тигру. Сама она, придерживаясь за ольху, решительная и настороженная, походила тоже на охотника.

— Видишь, мама, видишь, по реке идет... Смотри на мою руку. Вон свернула к хутору...

На другом берегу, в том месте, где река круто поворачивала в сторону от неровной гряды ольшаника, отделилась черная горбатая фигура женщины и прямо по пустырю пошла к хутору. От Веры с матерью она была саженях в пятидесяти. На своих закорках она несла что-то тяжелое и ее частое с хрипом дыханье, похожее на шуршанье косы, подавалось к ним, как по радио.

— Это она боченок масла несет... Вот ей и не хотелось пускаться на квартиру. Ах ты, кулацкая морда!

Отойдя метров сто от реки, Тигра села и потерялась из виду.

Хутор над голым пустырем вставал жутко и серо. Он похож был на громадного кота, готового каждую минуту кровожадно прыгнуть во мглу.

Вера долго смотрела на хутор, но вот она вздрогнула и, вытянув шею, круто повернулась к колхозному полю...

Вскоре она послала мать в деревню за Шуркой, который спал в крайнем сеновале, а сама, согнувшись, как красноармеец при перебежке, быстро пошла по вспаханному пустырю.

Невдалеке от дороги стоял приглушенный трактор. Около него неторопко копошились две фигуры. У одной в руках то и дело вспыхивал какой-то блестящий предмет.

Вере показалось, что они заметили ее и она проворно припала к земле.



— Пей, браток, жись наша такая. Сам был пастухом. Знаешь...

— Соревнованье у нас, мать его в душу. Девка обставляет, — глухо отвечал Косульников.

— А ты на полный газ, на третью скорость.

Вера вздрогнула и на четвереньках поползла по рыхлой пахоте.

Она хотела подползти незаметно к самому трактору, чтобы подслушать все. Но это ей не удалось. Вскоре она увидела, как от трактора отделилась незнакомая фигура и быстро пошла к лесу, а сам Косульников что-то бормоча сам с собой и, придерживаясь за керосиновый бак, пошел к радиатору.

Через несколько секунд трактор гигантской кошкой заурчал и метнул перед собой широкие клинки света.

Когда Вера подбежала к трактору, совсем пьяный Косульников уже взбирался на сиденье.

— Косульников, ты что это, друг?... — крикнула Вера, схватив его за плечо.

— Верка!... Как это ты?.. — обернулся Косульников и, взяв за козырек кепку, бросил ее на землю. — А я, знаешь, выпил немного.

— Кто это здесь был? — прямо в осоловелые глаза смотрела Вера.

— А чорт его знает.. Пастух какой-то... Иду, говорит, из села.. Нет ли закуочки? — брызгая слюной, увлеченно объяснял Косульников: — Я говорю: как не быть... Верка!... У меня ведь здесь все друзья... Я то никого не знаю, а меня все..

— А о чем он рассказывал?..

— Да обо всем рассказывал. Парень на все сто. И в нашем деле понимает. В селе, грит, пашут на третьей скорости, только берут мельче... Парень, брат, душа, а нас на курсах стращали...

Он взялся было за кепку и, не найдя ее, фыркнул носом и полез на трактор.

— Косульников, — схватила его Вера за полу тужурки, — я пахать буду. Ты за меня завтра попашешь, — мне бы домой сходить надо...

— Верка, не буду я за тебя пахать. Бригадира проси. Я на тебя злой, — и, подумав немного, хлопнул рукой по крылу: — Злой я на всех. Но мы докажем, как соревноваться. Мы утрем носы-то и сельским.

Под ноги Вере попала кепка Косульникова. Подняв ее, она хотела было надеть на него, но тут же раздумала и, размахнувшись, далеко отбросила на пахоту.

— Косульников!.. Кепка... Лови! — задорно крикнула она.

Косульников большеротом улыбнулся и скырлыкнув по крылу ногтями, зашатался за ней.

Не дойдя шагов трех до кепки, он упал и на карачках пополз к ней. А Вера в это время, быстро отцепив плуга, вскочила на трактор и включила рабочую скорость. Трактор дрогнул и, вытягивая перед собой, как слизень рожки, яркие столбы света, послушно пошел вперед.

Оглянувшись назад, Вера совсем рядом увидела нескладно бегущего Косульникова. Она, привычно нажав на педаль, включила третью скорость. Трактор свирепо загудел и ошалело бросился на дорогу.

---

Через две недели выяснилось все. Человек, напоивший Косульникова, был вовсе не пастух, а крестьянин бедняк с хутора «Горка», что верстах в двенадцати от колхоза, Криулев Иван Карпович. Его подговорил тот самый в красной рубаше мужик, который, как и предполагала Вера, был кулак из соседнего хутора, спекулировавший с Тигрой маслом.

Заданье Криулеву было такое: напоить Косульникова и подзадорить работать на третьей скорости. А в том случае, если бы Косульников, не поломав машины, уснул, Криулеву было наказано самому разбить у трактора крышку блока, или на третьей скорости пустить машину на произвол судьбы.

За все это ему было обещано десять литров масла и пять пудов семенного овса. Три пуда овса он получил еще накануне.

У Тигры нашли зарытыми в подполье четыре боченка льняного масла, а три битона масла были случайно обнаружены в колодце на другой день обыска.

О новом выступлении классового врага Петя Черняев в районной газете написал боевую статью, которая читалась и выучивалась наизусть во всех колхозах и хуторах.

Каждая строчка в ней дышала молодым задором и уверенностью. «Не сегодня, так завтра МТС победит столыпинские хутора. Она вырвет из них все кулацкие корни и, объединив все трудовое крестьянство в колхозы, вместе с ними и для них проложит на своих машинах столбовую дорогу к социализму.»

Хуторского кулака и Тигру областной суд приговорил к десяти годам лишения свободы. Криулеву дано шесть месяцев исправдома. Дело Косульникова разбиралось на товарищеском суде, после которого он стал самым добросовестным рулевым МТС.

---

Снова свирепая мятель неистово машет белесыми крыльями. Придорожные сосны, качаясь из стороны в сторону, угрожающе шумят и осыпаются снегом. Вместе с пургой на перелесок тончайшей сеткой накидываются сумерки.

От рощи — к рощице, от поворота — к повороту по заметной дороге идет звонкоголосая группа девушек. У передних увязанные шарфами и полущалками головы то и дело поворачиваются назад.

— Вера, а не страшно ездить-то?..

— Сначала немного боязно, а потом хоть бы что..

Она улыбается и, взяв под мышку портфель, обеими руками оправляет у подбородка серый шарф. Пушистая заячья уханка на-



дежно защищает ее лицо от мятели и, когда Вера задевает ее рукой, с нее на портфель сыплется легкая пороша.

Вера Карпова, кончившая первой ударницей весеннюю посевную и уборочную кампании, была выдвинута на курсы руководителей кружков трактористов, и теперь, крепко подковав себя теоретически, вот уж несколько недель преподает в вечерней ШКМ тракторное дело.

Живет она у тетки в соседней деревне и оттуда каждый раз уводит в школу чуть не всех деревенских девушек. Это ее радует больше всего.

На крестах, подле густой рощицы молодых елочек, самая передняя девушка останавливается и, дождавшись Веру, идет рядом с ней.

— Сегодня карбюратор будем проходить... Читала я днем и ничего не поняла.

— А блок теперь весь знаешь?.. — перекинув в другую руку портфель, смотрит в лицо девушки Вера.

— Блок-то знаю.

— Ну и карбюратор узнаешь. Тут главное — жеглер. Вот слушай, — объясню.

— Нинка, да обожди с карбюратором! Вечно залезает вперед. Вера, я вот что хотела спросить. Ты про Тигру-то рассказывала, так и в других колхозах такие?..

— Всякие есть.. А ты что, боишься?..

— Нет, я бы ее тогда еще оттаскала за волосы.

Девчата хохочут и плотней группируются около Веры.

— Вера, а практические занятия скоро начнешь? — снова спрашивает Нинка.

— Теперь скоро.

— Хорошо тебе, — ты все знаешь. Ежели бы прошлую зиму у нас были курсы, я бы тоже училась.

... И снова девушки спрашивают обо всем Веру.

Около маленького моста на рослой гнедой лошади их нагоняет знакомый старик-колхозник. Он стоит на коленях в широкой плетуге и голицей тщательно расчищает от снега бороду. Поравнявшись с ними, образовавшими для него живой коридор, старик весело кричит.

— А ну, курсанки, садись, подвезу...

Девчата с веселыми криками бросаются в сани и сминают старика.

— Ногу-то... Ногу-то... Ой-ей-ей...

— Ничего, дедушка, до свадьбы заживет!..

Старик вскакивает на ноги и, взяв вожжи, кружит ими на виду лошади.

— Песню, девчата... Песню, — обернувшись кричит он.

## Сила примера

Аппарат молчит. Под светом многосвечных ламп блестят отполированные движением верхние ролики, плавают тусклые отражения в черной воде подернувшей сверху тонкой пленкой заплесневелой пены.

Круглые сутки соревнуется в этом месте дневной свет с электрическими лампами. Но электричество побеждает: не в силах тусклые полосы дневного света пробраться в цех через большие окна, заставленные снаружи высокой стеной противоположного фабричного корпуса. Поэтому многосвечные лампы властвуют день и ночь в этом месте цеха, где стоит аппарат.

— Чортов угол, — ругаются рабочие: — Машина-то не как у людей, да и стоит еще в дьявольском месте. Тут, брат, как ни ку-мекай, все брак будет.

Химику Филипповичу уши прожужжали этими словами. Дня такого не было, чтобы не приходили с жалобами на неполадки у этой машины: то браку сверх плана наделали, то ролики сдвинулись с места от быстрого хода. И редко выходило, чтобы человек на этом аппарате месяц проработал: тот, кто относился к производству как к своему, сам признавался в своей слабости и переходил на другие машины, а тот, кому «где ни работать — все равно, лишь бы деньги получать» снимался с работы администрацией и переводился на «затычку». «Затычка» — это запас, откуда берут на работу по нужде, когда отсутствует рабочий-кадровик. Поэтому слово «затычка» в устах рабочих звучит унижительно.

Три дня назад с этой машины составили двух рабочих на «затычку». Химик беспокоился; неприятно было видеть молчаливый аппарат. Несколько раз обсуждали этот вопрос и каждый раз останавливались на одном: дать хорошего хозяина этой машине. Но... людей не было. Так и решили: остановить.

Аппарат стоял... Три недели отдыхали железные суставы, не спорили шестеренки друг с другом и ролики не полоскались в теплой спиртовой воде. Заварка каждый день недодавала 1 440 кусков цветистого ситца.



К химику пришел машинист из отбельного цеха. Он не был удостоен взглядом химика, занятого чем-то за своим столом. Тогда машинист, маленький и толстый, в спецовке, прожелтевшей от каустика и натра, подошел к столу и сел на стул. Обоняние химика



было нарушено острой струей каустика, но химик не поднял головы, склоненный над маленькими лоскутами пробы.

— Да? — односложно спросил химик.

Машинист внимательно смотрел на роговую оправу очков и гладко выбритое лицо химика с родинкой на верхней губе.

— Я, знаете, товарищ Филиппович, пришел на счет перевода в другой отдел.

— Работать надоело?.. Устал?.. — Филиппович смотрел на стол.

— Нет... Перевестись на остановленный аппарат хочу.

Химик оторвал глаза от пробы и уставил их на машиниста, полные недоверия.

— Ну и затея у тебя, товарищ Павлов!

— Работать, товарищ Филиппович, хочу, а своя машина, знаете, не удовлетворяет. По правде, знаете, скажу, не к чему ума приложить: каждый день все одно и то же. А что касается моего места, так его любой, знаете, заставит.

Химик не мог противостоять настойчивости Павлова и на перевод согласился. Написав «служебную записку», еще раз предупредил:

— Смотрите, товарищ Павлов, не ошибитесь, — курьезно будет. Главное, машина с норовом.

Но Павлов не струсил.



После 25-дневного отдыха машина пошла. Новый машинист еще за день до начала работы тщательно осмотрел ее. Администрация боялась: не справится новый машинист, и дала ему в помощь трех человек.

В первый день за работой аппарата целую смену наблюдал сам химик. Начало было хорошее. Сегодня и мастера не потревожили, как раньше, и он ни разу не подошел к аппарату с черной записной книжкой, хранящей в себе обоймы цифр брака.

На другой день за четверть часа до начала работы Павлов собрал своих товарищей и расставил каждого на свое место.

— К работе относиться чтоб добросовестно. Каждый будь в ответе за свой участок, — сказал Павлов.

Насторожилась заварка, готовая снова ругать администрацию за нераспорядительность, за то, что так долго не выкинут эту «никудашную» машину, которая «только людей портит». Любопытные подбегали к машине, словно прислушивались к ее ходу и говорили:

— Зря мучаетесь, ничего не выйдет у вас. Завтра же на «затычку» составят.

Работать было, действительно, трудно. У аппарата оказался быстрый ход, быстрее нормального. Дневного света почти не было. Круглые сутки горело электричество. Брак возможен каждую минуту, малейшая недоглядка — и полтора-два куса брака в минуту. Требовалась большая напряженность внимания, чтобы бы-

стро убегающая лента товара не выходила из своего гнезда на ролике.

Павлов сам встал у материальной коробки и никому не передоверял управления аппаратом.

■ ■

Павлов не обладал большими знаниями в области процесса промывки: к руководству аппаратом привели его смелость и страстное желание. Еще во время своей работы в отбельном цехе он не раз заглядывал в заварку, простаивая часами около мыльно-прогонного аппарата. Кончая свою смену, Павлов приходил в заварку и становился около аппарата, смежного с проходной дверью в отбельный цех; он приставал с расспросами к старому Лукичу, машинисту аппарата, и тот, высокий с широкими плечами и худым лицом, округлости щек которого были съедены многолетним катарром желудка, на ходу бросал непонятные слова об отличии своего аппарата, о том, как надо составлять материал и как бродит мыло во время хода товара.

— Это тебе, голубчик, не спиртовая или мойная машина. Тут надо глаз да глаз, да... На полмизинчика опоздал посмотреть, глядишь, она так тебе накуралесит, что и умом не прикинешь, — говорил Лукич, пощупывая правой рукой под ложечкой.

Слова Лукича нанизывались размашистыми строчками в тетрадку из толстой напорной бумаги и дома заучивались наизусть.

Случалось, Павлов вставал за аппарат. Лукич обходил кругом аппарата, на ходу вытирая руки горстью сальных тряпок, подходил к своему ученику и, подмигивая, говорил:

— Погляди, Митяй, — червяка никотинского заморить сбегая.

Тогда Митяй оставался один, но проверять свои знания не приходилось: Лукич был очень предусмотрителен.

Так Павлов появился на горизонте заварочного отдела. Но это было только начало. Теперь он — самостоятельный руководитель и на нем лежит ответственность с честью выполнить взятые на себя обязательства. А это, пожалуй, посложней...

■ ■

Помощники следовали примеру Павлова. Они понимали, что их поставили не для отвода глаз, а работать и работать, может быть, больше своего старшего. Они так же знали, что за их работой следит не только старший машинист, но и весь отдел. Но у них не хватало самого главного, — опыта. А ведь только через него можно высоко подняться над мудростью машин.

Дмитрий, Иван Зубов и Вера Долудь — новички в заварке, и на аппарат № 3 их поставили из «затычки». До этого они работали в разных отделах ситцевой фабрики. Павлов оптимистически смотрел на них: вырастут, научатся. Иногда сам занимался с ними после работы. Но жизнь учила больше, чем слова старшего машиниста.



В десятый день работы аппарата Павлова вызвали к химику. Филиппович сидел, откинувшись на спинку стула, и часто подносил к губам дымящуюся папиросу. Во весь стол был разостлан кусок цветистого ситца, а один конец его спускался до полу. Павлов сразу узнал свой товар.

«Напортил», — мелькнуло у него в голове.

— Садись, товарищ Павлов...

Химик, затушив папиросу, скатал кусок товара и обратился к Павлову:

— Ваша машина пока идет первой... Я, признаться, никак не допускал, что эта машина может оказаться годной. Дело, видимо, не только в машине, но и в людях.

Павлов сидел, удивленный откровенностями химика, и ждал, когда после этих слов он обрушится на него с критикой за плохую работу. В дверь резко постучали и через секунду, вместе с шумом машин и трансмиссий, в комнату влетел разнорабочий Вашуненков. Не замечая Павлова, Вашуненков рапортовал химику:

— Иосиф Макарович, сейчас видел, как уродуют аппарат № 3... Он уже не работает. Возьмется там одни ученики, а Павлова нет. Дознают в конце машину эти доверенные люди.

Павлова передернуло это сообщение. Ему стало тесно сидеть на стуле; казалось, что сидение стула становилось все уже и уже.

— Сообщи мастеру, — отозвался химик, с недоумением взглянув на Павлова.

Дверь кабинета тихо затворилась. Уходивший не торопился.

— Я извиняюсь, мне надо бежать: не в силах больше терпеть, — произнес Павлов.

— Ваш аппарат теперь под особым наб....

Павлов не услышал окончания слов химика. Он уже бежал по направлению к заварке.



Управление аппаратом перешло в руки троих. Аппарат, шедший до этого нормально, вдруг встал. Дмитрий хотел было бежать за Павловым, но Долудь одернула его:

— Подожди.

Она уже стояла у передаточного руля, стараясь сдвинуть ремень с холостого хода. Но как она ни переводила его, он тут же соскакивал на холостой ход. Из-под красной косынки выбилась горсть черных, как смоль, волос. На лбу и на носу выступили мелкие бисеринки пота. Зрачки бегали от одной части машины к другой, словно искали причины останова. Передача не везет. Ремень ослаб, вытянулся немного и не может взять противопоставленную силу. Засучив на ходу рукава выше локтей, Долудь метнулась в правую сторону аппарата, где под железным футляром — передаточные шестерни. Футляр на половину открыт. Из-под него ударило в нос тяжелым запахом каустика: шестерни были все опутаны товаром, насыщенным травчатым веществом.

— Клещи дайте! — что есть силы крикнула Вера.

Дмитрий стоял рядом. Но он забыл, где лежат клещи, которыми часто пользовались вместо гаечного ключа, и пробежал на другой конец цеха к слесарно-ремонтному верстаку. Минуты простоя росли.

Дорога была каждая секунда. Лишние движения, растерянность увеличивали простой. Долудь, горя от нетерпения, схватилась было за конец травленного товара, но Зубов, подскорив с клещами, отсунул ее от шестерен.

Когда Дмитрий принес слесарные клещи, они уже были не нужны. Зубов сидел на корточках и следил, как черные зубья шестерен цеплялись друг за друга, а Долудь повертывала руль, переводя ремень на середину махового колеса, на полный ход.

Павлов застал Долудь у передка машины. Она зорко следила за убегающей лентой лапистого товара. Но цветистые широкие пятна не были заметны от быстрого хода аппарата и сливались в одну сплошную краску.



Аппарат работает. Павлов третий день не видит у своей машины Дмитрия.

— Заболел, — говорит он ребятам, а сам думает: «Гуляет, стервец, опешил...».

Но машина обходится и без Дмитрия. Долудь работает за двоих. Она ходит вдоль кузова аппарата, наполненного разными составами, смотрит. Белесо-синяя полоса товара то появится на верхнем ролике, то быстро пропадет в пенистой воде, пока не пройдет десяток роликов, размещенных на дне и в середине коробок, чтобы снова появиться на другом верхнем ролике. Ни один метр не пройдет мимо черных глаз Долудь. Полоска товара появляется наверху шесть раз, прежде чем она попадет между двух отжимных резиновых валов, а оттуда в спиртовку. Долудь зорко следит, медленно подвигаясь за полоской товара к концу аппарата.

На предпоследнем ролике полоска раздвоилась: Вера охватило волнение. Она попыталась было успокоиться, мысленно сославшись на обман зрения, но раздвоенная полоска росла, увеличиваясь. Вера на секунду застыла на месте, над переносом на лбу образовались две толстые, синие складки. Волнуясь, она приложила обе ладони к губам и крикнула:

— Товарищ, Павлов, останови...

Аппарат замер. К Вере подбежал старший. Надо было спустить воду для того, чтобы проверить случившееся. Но это значило бы остановить аппарат на два часа. Тогда Павлов быстро набросил на себя спецовку и прыгнул в пятую коробку. Первый (после верхнего) ролик раскололся, запустив занозы в товар. Ролик был снят. Десять метров товара испортил расколовшийся ролик. Десять метров записали в черную книжку мастера.



■ ■  
К аппарату подошел машинист соседнего аппарата Макар Потягалов.

Молча он посмотрел на тележки, наполнявшиеся жгутами сырого крашеного товара, поднес близко к заплывшим глазам один конец и покачал головой. Потом прошёл вдоль аппарата и ему показалось, что работает он совсем по-другому. Его внимание задержалась на сцеплениях роликовых шестерен, они были чисты и работали без стука и без перебоев.

Но у Потягалова это только вызвало ненависть и к аппарату, и к людям, умело управляющим аппаратом. Десять лет проработавший в заварке на одном аппарате, он чувствовал, как с каждым днем тускнела его фигура. До прихода Павлова в заварку у его машины часто собирались товарищи, и тогда в густых разговорах терялся аппарат, и день становился короче. И никто этого не замечал, разве кроме мастера, да и зачем это было нужно, когда редкий в заварке не прикладывался к макаринской рюмке, и не знал его, как своего, как парня с рубашкой на распашку.

Павлов свертывал резиновый спецкостюм, когда к нему подошел медленным, неторопливым шагом вывернутых ног, Макар Потягалов.

— Работаем?.. — кивнул он на аппарат и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Говорят, все равно аппарат уберут из заварки. Главное, место тут не подходящее для работы и машина требует капитального ремонта.

— Откуда слышал? — спросил Павлов.

— В механической слесаря говорили. Я не знаю, что вы тянетесь, силы тратите.

— Не работать нельзя. Мы знаем, на что наши силы тратятся, а ты вот свою силенку больше нашего тратишь и сам не знаешь на что, — резко ответил Павлов.

— Пойдем, покурим, — не обращая внимания на недружелюбность своего соседа, сказал Макар.

— Подожду...

Макар уходил по направлению к курилке, привычными движениями обходя стоявшие по всему цеху товарные тележки, и Павлов видел только одну голову Макара и широкие покатые плечи.

■ ■  
Вчера, когда Павлов после смены подчищал грязь около аппарата, к нему подошел мастер и объявил:

— Завтра поставь аппарат на грунтовой товар; не забудь, что товар экспортный будет.

Для Павлова это было неожиданностью; ему ни разу не приходилось работать этот сорт, а у Лукича он видел его всего один раз, да и запись сохранилась на истертой от времени бумаге. Поэтому-то он сегодня пришел в заварку раньше всех.

Заварка окутана полумраком. Бетонный пол успел за ночь высохнуть и посереть. Длинные и неуклюжие тени машин диковенно громоздились друг на друга.

Павлов тщательно осмотрел коробки аппарата, подкрепил стойки у роликов и сел у материальной коробки на скамью. Он извлек из кармана пиджака смятую тетрадку с записями и отыскал то место, где были записаны дословно указания Лукича.

— Ежели коснется пускать грунтовой товар, набитый основными красителями, и также товар, что отправляем англичанке за машины, то заправка материальной коробки будет несомненно другая. Тут уж потребна антимоновая соль с содой; соли класть надо по 4 грамма в 1 литр воды, а соды по 0,7 грамма.

После этого Павлов измерил вместимость материальной коробки: в нее уходило 45 ведер по 12 литров каждое.

Долудь пришла за 20 минут до гудка. Она была удивлена, увидев Павлова около аппарата. Когда работали в заправке у сушильных барабанов, она ни разу не замечала, чтобы старший приходил раньше всех. Вслед за Верой пришел и Зубков. Вместе они принялись за подготовку аппарата к пуску.

Бесперывная красная полоса шла сверху из потолочного отверстия и ложилась пышными рядами на широкий стол перед материальной коробкой. Дрежит аппарат от сильного движения многочисленных роликов. Метр за метром вбирает он в себя до ломкости сухой, с грязноватыми пятнами, маркий товар, чтобы сделать его потом чистым и с крепкой окраской.

— Экспортный!..

Павлов сегодня на редкость спокоен; все его мысли сосредоточились на порученном ему, столь ответственном деле...

Экспортный... Его он должен сработать на аппарате, с которого бежали и который он взялся взнудать, как разбуянившегося норовитого коня.

Павлов подошел к коробке с горячей водой и опустил градусник: ртуть поднялась до 48 градусов. Пополнив коробку из горячего водопровода, Павлов подошел к мыльной коробке. По поверхности ее плавали мыльные белесо-розовые пузырьки, то пропадая, то снова нарождаясь тысячами. Поверхность волновалась, приглушенно рокотали внутри ролики. В коробку с верхнего ролика стремительно падала темная полоса; казалось, она не двигалась, а застыла в немой неподвижности.

— Товарищ Долудь, на полный ход пусти! — крикнул машинист. Аппарат дернулся от сильного неравномерного рывка, словно хотел сорваться со своего места.

Зубов откатывал последнюю тележку чистого кумачевого товара: со спускавшихся по краям тележки концов падали на пол ро-



зовые капельки воды, вызывая какую-то музыку, понятную только Павлову.

Павлов радовался, — он победил. Это победа не только его, но и Долудь, и Зубова, и всей заварки. Аппарат за всю смену ни разу не останавливался. Из 750 кусков не оказалось ни одного забракованного.

После смены все трое собрались в фабричной столовке. Выдача обедов уже не производилась, и столы, покрытые белыми клеенками, спокойно отдыхали.

Они разделись и заняли один из столов. Сегодня они должны закончить беседу об устройстве мыльного аппарата. Павлов говорил просто, стараясь избегать иностранных названий.

Устройство аппарата было расположено на нескольких чертежах небольшой книженки.

Три головы низко склонились над чертежами и каждая из них чувствовала, как мудреные непонятные обозначения вырастали в самый обыкновенный аппарат. Пунктирные черточки превращались в железные стенки аппарата, а точки — в движущиеся шестеренки.

— Я вам, ребята, новость хочу сообщить, — сказал Павлов, отрываясь от чертежей.

— Что такое?..

— Догадитесь, почему пропадает у нас Дмитрий?..

Долудь и Зубов переглянулись.

— Ты же сказал, что он заболел, — ответила Долудь.

А оказалось обратное. Вчера в ячейку сообщили из прокуратуры, что Дмитрий Захарыч Пантелеев, двадцати лет, задержан и находится вот уже 10 дней под стражей.

— Да что ты говоришь? Неужели это правда? — удивились оба в один голос.

— И забрали его как сына кулака, распродавшего все хозяйство и сбежавшего неизвестно куда. А его отродье Пантелеев попал к нам на фабрику в рабочие.

— Не понимаю, — качала головой Вера: — У нас в ячейке лежит его заявление о вступлении в комсомол и в анкете написано, что он сын даже батрака.

— Враги, оказывается, не дремлют, — говорил Павлов, облокотившись на стол левой рукой: — А наша с вами бдительность нередко притупляется. Ведь вот этот самый Пантелеев работал с нами вместе, и никто из нас не узнал, какая же личность работает, что он представлял из себя.

И Долудь вспомнила, как Пантелеев во время аварии аппарата долго не приносил нужный инструмент.

— Да, врага, видимо, нужно распознавать не по внутренним мыслям и переживаниям, но главным образом, по его действиям, — сказала задумчиво Долудь.

— Товарищи! — сказал Зубов: — Я хочу вступить в партию. Не могу больше оставаться вне ее рядов...

После Зубов написал заявление. Павлов и Долудь дали ему рекомендацию.



Последним вопросом производственного созещания цеха стоял вопрос об аппарате № 3.

Судьбой аппарата интересовался весь цех и поэтому в комнате профцехбюро, где происходило собрание, была полнейшая тишина. Некоторые уж приготовились кричать о никудышности аппарата, о выводе его совсем из строя.

Председатель выкрикнул фамилию докладчика.

Зубов не спеша поднялся и, протерев слезящийся глаз, заговорил:

— Товарищи, мы уже два месяца работаем на этом аппарате. Аппарат выдержал и имеет все права встать в боевую шеренгу остальных бойцов. Вральями оказались те, кто говорил, что аппарат нетрудоспособен.

— Правильно, — крикнул чей-то голос.

— Я хочу, — продолжал Зубов, — сказать, что машина не требует сейчас услуг троих; мы просим перевести нас по одному на самостоятельные аппараты, а № 3 перевести на двухсменку...

Зубов кончил, собрание зашумело:

— Ну, это загнул.

— Выхвалиться хотят.

— Охота снова исковеркать...

— Работать хорошо, так нейдет.

Бузили бузотеры, боявшиеся, что и их потащат по этой дорожке. Но большинство голосовавших не возражало против предложения.

Так трое, Павлов, Долудь и Зубов, первые посягнули на традиционные законы заварки: они первые пошли работать по одному на аппарате.



Чередовались дни, и каждый приносил с собой трудности и победы. Павлов и Долудь вступили с Зубовым в соревнование: хорошо обслужить машину, сэкономить материалы, наблюдать за чистотой аппарата и повысить норму выработки — было неотложной их задачей. Заварку они вызвали перейти на обслуживание машин одним человеком.

---

Установленная норма выработки 85 кусков в час Павловым была нарушена: 88-89 кусков удавалось сработать без особой трудности. Не отставала и Долудь, его сменщица, но Павлов на этом не останавливался.

Он серьезно изучал свою машину.



— Заметил брак на заднем конце аппарата, — останавливать беги к переднему, а брак-то все, знаете, идет. Другое дело, были бы отводки, — увидал, остановил и баста...

Механик слушает Павлова и соглашается.

— Поставим.

Через три дня Павлов снова идет к механику.

— Егор Захарыч, ролики расправительные, знаете, поставить надобно, а то того и гляди товар жгутом скрутится. Разве, знаете, доглядишь, а с расправителями будет куда как лучше.

Егор Захарыч, видимо, недоволен привязчивым машинистом: на шее Егора Захарыча вздулась синяя жила. Молчит.

— Ну, так как же, Егор Захарыч? Сделаете? — повторяет Павлов.

Механик перелистал настольный календарь, поправил кучу бумаг на правой стороне стола, потом выдвинул ящик из стола, порылся и буркнул:

— Ладно, сделаем. Обождать только денька три придется, слесаря заняты.

---

С каждым днем аппарат становился выносливее и выносливее: нагрузка не была ему в тягость. Павлов знал, почему аппарат работает хорошо, и еще сильнее ухаживал за ним. Один раз в пятидневку он проводил генеральный осмотр аппарата: стойки у роликов подкреплял, ролики чистил от накопившейся грязи, каждую шестеренку смазывал; ремень осматривал, — не ослаб ли.



За первую половину месяца заварка недовыполнила задания на 12,5 процента. В цехе росли прогулы, опоздания. Безответственность слесарей, обезличка старших аппаратов учащали поломки и остановы машин. Из-за заварки не шли полным ходом и сушильные барабаны запарки. Многотиражка «Рабочий глаз» строго обращала внимание всей фабрики на отсталый цех:

**В заварке прорыв. В цехе царствуют отсталые настроения, безответственность.**

**На ликвидацию должны мобилизоваться все ударники цеха.**

А Павлов держал испытание на 95 кусков в час выработки и выдержал.

---

В третий день пятидневки созвали бюро цеховой партячейки: на бюро пригласили партийный и профсоюзный актив.

Секретарь партячейки, Митя Баранов, машинист с джигер-

ной барки, сидел за столом, спокойно обводя взглядом то того, то другого коммуниста: чем же дышат они. Становилось как-то неловко от этого взгляда узких азиатских глаз, спрятанных в припухлых веках.

— У нас не машины, а корабли разбитые... С кого прикажете спрашивать выполнения заданий? С рабочих, скажете? — нельзя; надо сначала машины уделать. Тут дело сурьезное, — говорил вяло и растянато «Сережа — достань воробушка», как его прозвали товарищи за высокий рост.

— Попал пальцем в небо, нечего сказать, — кинул кто-то реплику.

Секретарь смотрит и думает: «И тут путает. Парню исправиться пора, выговор имеет за хвостизм, внушение делали за прогулы, так нет же...».

Говорили много, каждый предлагал свои пути исправления неполадок: каждое выступление определяло непреодолимое стремление вывести свой цех из позорного прорыва.

— Говори, товарищ Павлов, — кивнул секретарь.

Покачиваясь, Павлов прошел к столу, оставив за собой колеблющиеся волны табачного дыма.

— Видите ли, не в машинах только дело. Дело, знаете ли, в людях. Отчего же, скажем, не выполняются и без того заниженные нормы? — Машины не обихаживаются, люди на работу становятся не проспанными; прямо, знаете, от стола с русской горькой, опаздывают. А мы, коммунисты-актив, все время в цеху находимся и хлопаем.

Тут Павлов приставил большие пальцы к ушам и пальцами показал, как птицы машут крыльями.

— Повышение норм, знаете, давно намечено провести, а их и сейчас не проводят; нормировщики и в цех-то боятся заглянуть.

Митя Баранов перелистал все странички блокнота, исписанные бисерным почерком. На каждом выступающем он останавливался поочередно: одобрял, поддерживал, критиковал. Он стоял впереди стола и, слегка покачиваясь сутулой фигурой, говорил:

— Хвостистским настроениям в наших рядах не место. Совершенно правы те, кто указывал, что некоторые из нас зевают, теряются в обстановке. Довольно этого... Довольно, скажете вы, здесь сидящие и все передовые, сознательные рабочие. Мобилизоваться и мобилизовать всю массу, иначе мы сейчас же должны заявить о своем бессилии и отказаться от роли руководителей.

Единогласно приняли резолюцию:

«Немедленно приступить к повышению норм, взяв за основу опыт товарища Павлова, рабочего аппарата № 3, и первыми перейти на повышение норм.

Повести решительную борьбу с прогулами и опозданиями в цехе, организуя товарищеские бойкоты к злостным нарушителям труддисциплины.



Возложить ответственность за состояние машин на машинистов. Повести среди рабочих разъяснительную кампанию по переходу на единоличное управление машинами».

На другой день о решениях актива стали поговаривать за машинами. Говорили несмело, втихомолку.

И, как всегда, у потягаловского аппарата сегодня собирався народ.

— Слыхали, что активисты порешили? — с ехидством обратился Макар к товарищам.

Как не слышать.

— Да што выйдет ли у них без нас?

— Шкуру с нас хотят драть, а разве мы волю.

— Выходит, что и покурить нельзя отлучиться.

— Мы должны настоять на своем, — говорил Макар. Он стоял, прислонившись боком к передку машины, и узкими щелчками глаз смотрел то на того, то на другого, словно хотел во взглядах их найти что-то общее с его мнением.

В это время к машине подошла Вера Долудь. Активисты — комсомольцы и партийцы, свободные от работы, сегодня спустились в цеха к машинам.

— Здорово, товарищи! О чем так горячо спорите? — заговорила Вера.

— Все молчали.

— Ну, как ваше мнение на счет повышения норм? — не отступая, продолжала Вера.

— Люди из «затычки» нам не пример, — отрезал потягаловский голос, сделав ударение на слове «затычка».

Лицо Веры загорелось, словно ушат горячей воды вылили на нее. Но эту обиду, хлестнувшую ее по лицу, она сумела побороть. Она не представляла себе иного пути, кроме одного, — брать все трудности приступом, сочетая смелость и рвение с знанием дела. Так научила ее поступать жизнь.

Двадцать две весны имеет за своими плечами Вера, шесть весен отдала активной работе в комсомоле и за все это время она не помнит такого случая, когда бы она пасовала перед трудностями.

— Разве вы не болеете за то, что заварка не выполняет план? Значит вам нравится быть на черной доске? — наступала Вера, чувствуя, как пропадает с ее лица кумачевая краска.

Рабочие зашевелились. Они не хотели быть на черной доске, но и трудно было расставаться с прежним распорядком работы.

— Смотрите, товарищи, дело не в личных интересах, а в интересах нашего цеха, — сказала Долудь, собираясь уходить: — Мы надеемся, что ни один рабочий не пойдет против предложения актива.

К аппарату подошел мастер. Рабочие расходились с задумчивыми лицами и каждый уносил с собой мысль о том, какое значение будут иметь они, если примут предложения актива. Перед их

взором вставляли машины, управляемые одним лишь машинистом и груды ситца и ластика, не успевающие укладываться в тележки.

Нормировочное бюро приступило к нормированию. Техник бес­гласно подходил к аппарату, то и дело поглядывая на хронометр и записывая что-то в тетрадку.

Макар уже знал заранее, что к нему придут с хронометражем (товарищ сказал) и поэтому еще до начала работ покапал на ремень масла: ремень скользил по передаче и не вез аппарат полным ходом.

Макар не торопится; ему некуда спешить, да и не разорваться же ему на самом деле? Кто смеет сказать, что он плохо работает? Попробуй, скажи... На работу он вышел во время, аппарат идет без перебоев, покурить он ходит правильно; каждый час — пять минут по закону полагается. А что до того, если к нему подошел товарищ, не гнать же его прочь от машины: как никак люди живые, погово­рить требуется. Скажут: Макар на работу опаздывает. Чудаки, пра­во! Что же поделаешь, раз жена с завтраком опоздала? Не разво­диться же с ней из-за этого? А на счет другого молчек-старичек...

Хронометражист морщится. Аппарат встал, а машиниста нет: он в курилке выдерживает законные минуты.

Макар в развалочку, не торопясь, подходит к машине и, не до­ходя шагов пять, ругается:

— Встала уж, разбитая кляча, на минутку не отойди от нее. Хуже моей машины не найти во всей заварке, ей бо, не найти: как есть корабль разбитый. Вот тут и попытайся вывести нормочку, — обращается он к хронометражисту.

Белки глаз у Макара красные, словно он не спал несколько но­чей к ряду: из глотки попахивает винным перегаром, но это все приглушено луком.

Кончается смена, заканчивает и техник, нанизав в тетрадку ци­фры о простоях, о времени пуска аппарата и о том, сколько време­ни шел товар в процессе обработки.

Макар улыбался кончиками усов.

---

Один за другим аппараты переходили на повышенную норму. Павлов и Долудь шли первыми. Зубов тоже не отставал. К нему присоединился сменщик.

На колонне, по середине цеха, белеется листок бумаги — кол­лективное заявление остальных. Зубов его переписал и копия заяв­ления заняла всю вторую половину распахнутых дверей, ведущих к выходу. За пятнадцать шагов видна каждая буква, — так старатель­но они выведены художником.

«Товарищи, мы уразумели, что работать по-старинке нельзя и одна веточка не в силах вымести двор и поэтому мы присоеди­няемся к большинству. Как люди, так и мы, скопом-то видать луч­ше, не как в одиночку.

Мы следуем примеру товарища Павлова и других и переходим на повышенную норму выработки — 90 кусков в час, становимся



к аппаратам по одному и вызываем других еще не перешедших. Мы бросаем всю муру, мешающую производству, к чему и подписуемся».

Следовали подписи. Первой шла подпись Макара Потягалова, размашистая и крючковатая, а за ней еще восемь подписей.

■ ■

Заварка перешла на новый путь работы: на каждом аппарате саботали по одному и не жаловались, не проклинали машин.

Заварка жила своей особой жизнью, отличающейся от других цехов. Имя этой жизни — темпы. Один за другим тонули дни в бешеном беге ремней, трансмиссий, в неослабном нажиме людей.

Соревнование!

Это оно наложило отпечаток на людей, умело и расчетливо управляющих мойными машинами, джигерными барками и аппаратами. Это оно говорит стройными многозначными цифрами на красной доске, показывающими, как настойчивостью и упорством десятков рабочих заварочного цеха ликвидируется прорыв.

■ ■

Павлов управляет всей заваркой. Ежедневно с утра обходит он все машины, останавливается и прислушивается к ходу машин.

— Поскрипывает в роликах, товарищ Потягалов. Дней шесть не смазывал наверное...

Потягалов не обижается на мастера, потому что он правильно говорит, да и свой парень, по соседству работал.

К аппарату подбегает Зубов и, дергая Павлова за рукав, говорит:

— Зайди ко мне. Аппарат встал... Бился... бился...

Павлов не дает Зубову договорить и быстро шагает через весь цех, минуя стекающие по наклонности ручьи.

На пути ему попала раскрытая канава, — доска вывалилась.

— Заделай, товарищ, ногу сломишь, — на ходу бросает он подвсчику товара.

Зубов, опередив мастера, повертывал передаточное колесо: передача работала исправно, но аппарат не везла.

— Передаточная шестерня не работает, шпонка на валике вылетела, вот и провертывается, — поясняет уж Павлов: — Наверно не заглядывал сколько времени?!

Зубов сразу смекает, что делать, и не нуждается больше в помощи мастера.

— Дмитрий Иваныч, когда будет технический-то кружок? — кричит работница.

Мастер идет по цеху. На вопрос он отвечает спокойно, словно не его спрашивают:

— Завтра, после смены...

## Ходовая

Воробьев заботливо раскладывал полотно. Голые по-локоть руки не мяли пухлых складок. Большой ящик наполнялся ровно, до краев. Машина, как всегда, шла размеренно. Нутряной шум терялся в шуме других машин. С деревянного барабана полотно текло, чуть вздрагивая, не путаясь — кромка с кромкой. Остро пахло красками. Жарко.

Николай поднялся от ящика и вытер тыльной стороной ладони со лба пот. Заодно потянулся, раскидывая широко руки. Не успел закончить зевок. В это время принесли ему от Кисина записку. Цеховой секретарь просил его зайти после смены в ячейку. В поспешных строках не читалось больше ничего. Но Воробьев догадался все-таки, что разговор опять пойдет об организации ударной бригады. Второй, по счету разговор... И все о несурзадной ходовой машине. А как увеличишь пропуск товара, если у ней размеренный, спокойный шаг? Разве шестеро не первыми хотели включиться в ударную бригаду в миткально-красильном отделе? — Бригады не вышло. Но при чем же они, шесть комсомольцев, обслуживающих вторую ходовую? Николай Воробьев искал причину, которая бы таилась в них, — и не находил. Подвалила знакомая досада на себя, на кого-то еще и на машину. Мягкие, отвислые губы начинали вытягиваться в ровную ниточку. Несколько раз перегнул записку, покатав ее в грязных ладонях и бросил в угол.

— В чем дело? — заметив досаду Николая, спрашивает Смирнов.

— Кисин вызывает!..

— ...Опять о бригаде?

— Наверно.

— Буза — дело-то!

Воробьев лениво идет к ящику и снова начинает раскладывать полотно. Мысль о предстоящем разговоре с Кисиним неотступно беспокоит его. Неприметно для себя мнет пухлые, дышащие остро красками, теплые складки товара.

## 2

Когда внутрифабричное соревнование еще не коснулось миткально-красильного отдела, шесть комсомольцев, укомплектованных



на второй ходовой машине, собрались в одну из вечерних смен и решили создать первую бригаду, чтобы стать зачинателями своего отдела в ударной работе.

Воробьев сидел на ящике с товаром. Ноги были поджаты. Как локти, острые колени торчали вверх.

Смахнув со лба густые волосы, Николай начал постепенно слезать с ящика.

— Так вот, ребята, слово какое будет, — заговорил Воробьев и сам почувствовал, что надо бы взять разбег как-то покруче: — На ткацкой и прядильной уже организовались ударные бригады. Между ними началось во всю социалистическое соревнование. Они обязуются увеличить выработку, лучше относиться к работе.

Николай помолчал.

Затем резко и вопросительно сказал, разрубая одновременно кулаком воздух.

— А мы что, — в хвосте будем? Я предлагаю, ребята, объявить себя ударной бригадой и вызвать кого-нибудь на соревнование... ну, хотя бы первую машину! Для этого имеются указания и парткома, и комитета комсомола... Надо их наполнять жизнью. Вы как думаете? — опять спросил Воробьев и выжидательно поглядел на ребят.

Они кажется только и ждали этого, чтобы выразить согласие.

— Идея твоя, Колька, насквозь правильная... и даже глубже! — в полушутливом тоне заметил Шабанов: — Я согласен...

— Дай слова! — попросил Смирнов и встал перед Воробьевым большой, широкоплечий, сильный. Одернув коричневую спортивную куртку, которая плотно облегла тело, как резиновая, он сказал: — Мы, комсомольцы... и — ша! Точка, значит. Организовать бригаду необходимо. Прямо сейчас. Давайте без волокиты и пункты соревнования обмозгуем. Ну!.. — Он пошарил в карманах своих широких штанов и, ничего не найдя в них, попросил у Шабанова:

— Дай карандаш, если водится такой!..

— Так что ж? Решено с бригадой? — перебивая Смирнова, спросил Воробьев.

— Заметано, — подсказал Шабанов: — Надо заявить мастеру.

— Тогда давайте набросаем обязательство и вызов рабочим первой машины. А завтра наши показатели обсудим с мастером.

Перечню твердых обязательств предшествовало краткое, но четко закругленное введение, дающее необходимую оценку этой ударной работе.

«...Рабочие стали хозяевами производства. Они уже не могут по-старинке относиться к работе. Теперь они трудятся для себя. А труд стал делом чести, доблести и геройства. Мы должны все работать по-ударному, чтобы скорее построить социализм...».

А ниже:

«...Увеличить выработку, уничтожить брак, простои машины, прогулы...».

На утро Воробьев, как бригадир, пошел заявить о решении ребят второй ходовой машины своему мастеру. Неожиданно Иванов насмешливо подивился решению ребят.

— Организовали, говоришь, ударную бригаду? — пытливо переспросил мастер, глядя на Воробьева равнодушным стеклянным глазом.

— Да, вчера постановили ребята.

— Зря хлопотали: ничего не выйдет!

— Почему? — спросил несколько испуганно бригадир.

Иванов протер левый живой глаз и вместо ответа сказал:

— Прогулы есть у вас?

Николай пробежал в памяти работу последних недель. Не желая делать ошибки, осторожно мастеру напомнил:

— За прошлый месяц полтора часа... Смирнов подвел... Чего-то неладно с женой было. А этот месяц чистым сделаем!

— А сколько простоев? — неожиданно повернул Иванов.

— Кажется, меньше всех. Из технической нормы почти не выходим.

— Браку?.. — навязчиво приставал к бригадиру мастер.

— Да посмотрите в ведомость, — теряя всякое терпение, резко выкрикнул Воробьев: — Я говорю о бригаде, а вы... к чему это?!

— А ты не ерпенься!.. — вспыхнул Иванов. — Если тебе говорят, значит — имеют понятия в этом. И надо слушать.

Николай заметил, как вначале одинаковые глаза Иванова постепенно стали делаться непохожими: левый живой глаз наливался злой краснотой, зрачек расширился и мелко дрожал, а стеклянный глаз был в это время попрежнему эмаливо-светел и спокоен.

— Я к тому и клонил, чтобы сказать то же самое, что насчет показателей у вас довольно благополучно, лучше, чем во всем отделе, — слушал Воробьев поучительные слова мастера. Только почему-то казалось ему, что шли эти слова не от рядом сидящего Иванова, а откуда-то издалека. — Ходовую машину нельзя заставить работать быстрее положенного. Она никак не может пропускать больше нормы товара. Понимаешь? И никакой ударностью здесь уже не поможешь. Технические возможности учитывать надо! Так-то...

Николай растерянно глядел на лысую, круглую, как бильярдный шар, голову мастера, на бесстыжий стеклянный глаз и не мог придумать нужного слова для ответа. Из-под сердца поднималась холодная испуганность: бригадир против своего желания начинал как бы соглашаться, что с бригадой ничего не выйдет, если действительно ходовую нельзя заставить работать в большее количество оборотов.

Воробьев попятился к двери, молча вышел из грязной комнаты мастера, заваленной образцами крашеного товара. Перекошенная дверь осталась незакрытой.



Бригады на второй ходовой машине так и не вышло. Не было и на остальных четырех машинах бригад. Может быть, равнялись по второй комсомольской?.. А между тем печатники-ситцевики и красковары давно уже оспаривали первенство работы во внутрибригадном социалистическом соревновании. Над машинами появились дощечки с надписями, поясняющие, какая бригада обслуживает эту машину, какая на ней выработка и прочее. В коридорах заpestрели плакаты, красные доски с именами лучших ударников. Около них в смену толпятся рабочие, рассматривают, читают. И только нет здесь ходовых машин. Будто нарочно забыли о них. А главное, — не подает голоса и комсомольская ходовая...

Тогда Воробьева, как намеченного бригадира, позвали в ячейку. Это был первый с Кисиним разговор.

Бровястый секретарь, прищуркой заглядывая в широкие зрачки воробьевских глаз, многозначительно спросил:

— Значит нельзя на вашей машине организовать бригаду?

— ...Мастер сказал.

— Ну, а если бы тебе мастер не сказал этого, можно было бы организовать, или тоже нет? Ты подумал об этом?

Откровенно говоря, Кисин попал в самое незащищенное место. Николай почувствовал это, но сдаваться так легко да и неожиданно ему не хотелось.

— В шесть голов думали, — сказал он довольно уклончиво и пожевал большие пухлые губы: — Думаешь, не понимаем, что необходимо ударничество? Ребята согласны работать как черти. Всеми руками взялись бы... Да вот машина! Никак машину не расшевелишь!..

Слова получали другой смысл: Воробьев уже не нападал на мастера Иванова, не возмущался его доводами, а какой-то стороной защищал его, отстаивал то, что казалось вначале ему самому умышленным нежеланием Иванова пойти навстречу шести комсомольцам в их бригадной работе.

Секретарь уловил этот смысл. Густые брови плотно сдвинулись и одной чертой легли на сплюснутое переносье. Серые глаза потемнели и смотрели теперь на бригадира отчужденно и зло.

— Плохо думали! — решительно сказал он: — А бригада все-таки должна быть. Иначе вопрос поставим на бюро. Комсомольцы, а идете в хвосте всего отдела. Где же тут образец работы?

Барабания пальцами о фанеру стола, Воробьев и не приметил, как содрал на суставе среднего пальца кожуцу о выскочивший гвоздик.

Кровь легла в морщинки и застыла тонкими ниточками. Загнав гвоздик в свое место, он Кисину пообещал:

— Ладно: поговорю еще с ребятами!

— Только меньше всего надейся на мастера, — подсказал секретарь.

На дворе, у главного корпуса фабрики, мастерают новый показатель соревнования. Огромный цветистый щит подымается высоко. Его будет видно отовсюду. Над каждой полуметровой графой что-нибудь нарисовано: или самолет, паровоз, или черепаха, улитка. Не заполненные пока графы похожи на белые льняные полотенца. Но скоро они покроются узорами цифр. Как зеркало, показатель будет отражать результаты внутрифабричного соревнования.

Воробьев останавливается и любовно смотрит на разделанный фанерный щит, прилаживаемый к двум столбам. Останавливаются и другие рабочие, торопливо идущие со смены.

— Полетим скоро? — слышит Воробьев.

Сухой голос колеблется около самого уха. Он оглядывается. За плечом стоит Сомов, рабочий с первой ходовой машины. Приподнятая от смеха губа топорщит редкие, седеющие усы.

— Полетим-то скоро ли, говорю?!

— Мигом слетим, — как бы поправляя Сомова, говорит в тон ему Николай: — А дальше — на корячках поползем!

— Что так?..

— Летать еще не научились. Вы бригаду-то организовали!

— Не-ет... Вас дожидаемся! — не то в шутку, не то всерьез улыбочиво говорит Сомов, расправляя редкие усы, будто готовился кого-то поцеловать.

Воробьев надвинул козырек на брови, круто повернулся и пошел к воротам. На окликавшие голоса не хотелось оглядываться.

Когда его на улице нагнал Егор из красковарни, низенький, кривоногий парень, и сообщил, что сегодня будет сыгровка первой футбольной команды, он коротко и неохотно сказал:

— Приду.

## 6

...Смирнов одернул тесную спортсменку и предложил:

— Надо, ребята, перевестись на другую работу! Ну ее к черту — эту клячу! Что мы для смеха поставлены к ней?! Пусть инвалиды работают на таких машинах. Я предлагаю написать в бюро заявление о переводе!

Высказанная мысль Смирнова была, собственно, мыслью и всех ребят. Другого выхода не намечалось.

Под шум ходовых, на тетрадном листе было написано заявление. Оно читалось так:

*В БЮРО КОМСОМОЛЬСКОЙ ЦЕХАЧЕЙКИ МИТКАЛЬНО-КРАСИЛЬНОГО ОТДЕЛА*

*Заявление от комсомольцев, работающих на второй ходовой машине— Воробьева, Смирнова, Шабанова, Громова, Алехина и Путкина.*

*В виду того, что мы не можем проявить на ходовой*



*полную свою инициативу по ударной работе, потому что таковая не может выше нормы пропускать товар, а мы сознаем, что работать по-старому теперь нельзя и хотим быть в первых рядах социалистического соревнования, поэтому наша просьба вот такая: перевести нас на другую работу, где можно было бы показать свою ударную инициативу.*

*К нему подписи.*

...Воробьев решительно толкнул дверь и вошел в комнату ячеек. За столом, кроме Кисина, сидело еще двое. Все о чем-то говорили оживленно. Секретарь остановился на полужае и перевел густые брови на Воробьева.

— ...Ну, как? — спросил Кисин его, словно продолжая тот прежний разговор, что происходил между ними в этой же комнате. Секретарь остановился на полужае и перевел густые брови на Воробьева.

«Не забыл», — мысленно подивился Воробьев такой широкой памяти секретаря ячейки. Вслух сказал:

— Говорил... Надумали вот, — и он подал Кисину заявление.

Секретарь быстро пробежал взглядом по тетрадочному листу и положил его на стол, чистой стороной вверх, словно для того, чтобы те двое не смогли прочесть заявления шести комсомольцев. Затем долго поглядел в широкие воробьевские зрачки. Так глядят в тех случаях, когда хотят догадаться: не шутит ли человек? Воробьев не собирался шутить и потому спокойно выдержал острый взгляд Кисина.

— Ладно, — как-то неохотно сказал Кисин: — На днях будет заседание бюро, — поговорим. — Сделал выдох. Двумя пальцами взял со стола заявление, сложил его несколько раз и положил в грудной кармашек: — Разберем!..

Когда Воробьев шел в ячейку, он готовился уже к перебранке с Кисиним. Он представлял себе, что секретарь будет на их заявление кричать, волноваться, доказывать... Николай тоже не стерпел бы тогда и всю досаду, которую он, как большую тяжесть, носил в себе, обрушил бы на Кисина. Но этого ничего не случилось. Обескураженный, он пошел в цех, к машинам. Решительность поступка таяла... И если можно было бы, он с большим облегчением взял бы теперь обратно свое заявление у секретаря. В смену Кисин забежал к ребятам. И пока те одевались, он внушительно говорил им о том, что ходовые отстали в работе всего миткально-красильного отдела и что им, шести комсомольцам, надо учесть это.

— Вы, ребята, большую допустили ошибку! Нельзя бригадный метод работы понимать как погоню за большой выработкой... Это — не все! И напрасно вы пишете в заявлении, что на ходовых нельзя проявить инициативу... Я сегодня говорил с некоторыми рабочими, был у мастера: дела-то не так уж на ваших машинах гладкие! Третья, например, машина дает много брака, рабочие не укладываются в норму технического простоя. Им даже мало сорока минут для заправки ходовой! А прогулы, качество работы?.. Все это проверено? — Оказывается, нет! А вы говорите: нельзя проявить

инициативу. Ерунда, ребята! Надо бороться за каждую мелочь. А таких мелочей на ходовых — уйма, которые слагаются в большое целое. Попробуйте все прикинуть это, — и вы поймете, что и бригаду можно будет организовать, и работать по-ударному, и вести за собой остальные машины!

Смирнов не спеша застегивал длинный ряд пуговиц. И неприметно для себя он почему-то счел их. Затем подивился щедрости пошивной мастерской: на толстовке пуговиц было девять штук.

«Здесь и четырем делать нечего» — мысленно заключил он.

Когда секретарь кончил говорить, он одернул порыжевшую толстовку и согласно подсказал:

— Правильно, Гриша! Не с того конца взялись мы... Обещаем выправиться!

А Кисин обошел кругом машины, очень внимательно разглядывая что-то.

— Жалко, что я плохо знаю ходовые, — откровенно признался он: — может быть и сам что придумал!..

— Выправимся, — повторил смирновские слова бригадир: — Завтра объявим себя официально бригадой и вызовем другие машины на соревнование!

Воробьев говорил торопливо, убеждающе, внимательно поглядывая за Кисиным, который все еще глазами ощупывал машину. Ему в эту минуту вдруг показалось, что секретарь может неожиданно стать лекарем неповоротливой ходовой машины. Это вызвало в нем нечто похожее на чувство страха, неприязни и досады.

Идя вместе к трамвайной остановке, Кисин убеждающе говорил Воробьеву:

— Смирнов правильно выразился: вы не с того конца начали! На большом деле, Воробьев, из нас каждый может отличиться. А ты вот попробуй в малом деле отыскать большое. Да и переводить вас некуда... да и нельзя! Понятно? — За вами потянулись бы и другие рабочие ходовых машин. Это значит — оставить машины без умелых рук, ослабить какое-то звено в производстве и тем самым сорвать налаженную работу всей фабрики. Вот что получается, Воробьев!

Николай старался итти размашистей, чтобы не отставать от Кисина. И когда он забывался, Кисин обгонял его, и Воробьев рассматривал тогда широкоплечее, низкорослое тело секретаря. Тяжелая, с большим затылком голова сидела на короткой шее.

«Ослабить звено в производстве» — повторил Воробьев. И вспомнились недавно слова Сомова, рабочего со второй ходовой машины: «Вас дожидаемся!» Нагруженный товаром, хрустя по щебню и подымая желтую пыль, мчался огромный грузовик. Отрывистый кашель рожка прозвучал над самым ухом. Воробьев попятился, и грузовик, обдавая пылью, прошел совсем близко.

— Да, надо выправиться, — сказал себе Воробьев: — И еще хорошенько проверить машину... может быть, что и найдем в ней!

Слегка косолапя, Николай побежал к трамвайной остановке, догоняя шаговитого секретаря.



...Спокойно и бесконечно течет с деревянного барабана полотно. Свеже-выкрашенное, оно — теплое и пахнет острыми красками. Решетчатый барабан ходовой машины вращается около самого потолка. Стекая отвесно, влажное полотно укладывается в большой квадратный ящик. Ложится оно ровными, пухлыми складками, — несброшюрованными листами черной книги.

Ходовая работает невозмутимо: не торопясь и не отставая. И так десятки лет, до износа, работает в однообразном машинном спокойствии. Человек до сегодня послушно ходил около нее и только направлял заданный ритм. Временами возмущается человек, но ходовая — молчалива. Она стопорится только тогда, когда плохо разогрета краска, недостаточно смазаны вальцы, плохо заправлен товар. Сложенное вдвое полотно тогда начинает перекашиваться, кромки расходятся в разные стороны и в досчатый квадратный ящик ложится жеванная груда брака. Полотно выходит с полосатыми пробегами, рябое.

Так десятки лет работала ходовая машина; так работает она и сегодня. И пока Смирнов, грузным и большим телом навалившись на ящик, писал вызов на соревнование первой ходовой, Воробьев уже несколько раз обошел упрямую машину, внимательно прислушиваясь к самому незначительному шороху. Нового ничего не намечалось. Машина, однообразно шурша, выпускала из себя теплое влажное полотно. Как всегда... И вдруг... Воробьев насторожился от неожиданно пришедшей догадки. Пухлые губы, вытягивались почудному, становились острыми и серыми.

«Как это раньше не пришло?» — мысленно подивился Воробьев такой простой находке. Захотелось вскричать от радости. Но в это время подошел к нему Смирнов, одернул спортсменку и, расправляя лист бумаги, сказал:

— Вот, составил... Одиннадцать пунктов набралось!

Смирнов приготовился уже читать написанное, но заметил вовремя, что бригадир его и не слушает.

— Что, Коля, ум за разум что ли зацепил? — любопытствовал он и потрогал его за плечо.

Вместо ответа Воробьев закричал, не сдерживая себя:

— Нашел! Черти енотовые, бригаду нашел! Вот здорово!

— Чего орешь, — спокойно сказал Смирнов и потряс перед носом бригадира листком бумаги: — Слушай вот...

— Нечего и слушать, если самого большого нет. Понял? А теперь будет! Машина быстрее пойдет! Пиши первым пунктом: увеличить пропускаемость ходовой...

— На сколько? — в тон ему спросил Смирнов, а затем поправился: — Как это — увеличить? Нельзя же ведь?!

— Можно! — решительно сказал Воробьев и с гордостью добавил: — Теперь можно! Секрет нашел...

— Ну?..

— ...И самый пустяковый: надо зачеркнуть технический простой...

— Верно. Как это раньше мы не догадались об этом? Только можно ли сократить его?

— Кажется, да.

— ...А за сорок минут сколько можно пропустить товара? — подсказал Шабанов.

Первый пункт составленного договора читался так:

«Увеличить пропускоспособность ходовой машины за счет сокращения технического простоя».

Тайна ходовой оказалась в руках шести комсомольцев. После больших неудач ударная бригада на второй ходовой машине была организована. И в первый же день бригадной работы пропуск товара увеличился на четырнадцать кусков. А сменивший его — дал приработок уже в двадцать один кусок. Победа была завоевана!

В раннюю смену третьего дня насмешливый мастер отдела, Иванов, поблескивая стеклянными глазами, удивленно спросил у Воробьева:

— Дома что ль краски-то разогреваете?

— Печь электрическую завели! — издевкой ответил бригадир.

## 8

...Тайна оказалась очень простой. Каждой ходовой машине положено сорок минут ежедневного технического простоя, чтобы разогреть краску, заправить куски товара, — подготовить машину к пуску. Записано это было неукоснительно в нормах машинного свидетельства, и все поэтому считали, что бороться с ежедневным сорокаминутным прогулом машины нельзя. Так думали, потому что ходили послушно около машины, не вмешиваясь в ее извечное спокойствие. Теперь человек управляет ходовой. Он старается использовать каждую техническую возможность машины, ибо она работает на него. И когда в поисках возможностей мысль натолкнулась на технический простой, то естественно надо было как-то пересмотреть его, а не проходить мимо...

Шесть комсомольцев так и поступили: они сначала уплотнили машинный простой, сокращая изо дня в день, а затем постарались и совсем зачеркнуть, — заставить работать ходовую вовсе без прогулов.

— Рабочие избегают всяческих прогулов, лодырей вешают на черную доску, а почему ходовая должна простаивать каждый день по сорок минут? — справедливо горячился бригадир.

Ребята поняли всю резонность воробьевских слов. Нельзя потрафлять машине, когда она мешает ударной работе. И технический простой был вычеркнут навсегда, впервые за десятилетние сроки работы ходовой.

Необходимое время, которое все-таки требовалось на разогрев краски, заправку полотен, ребята обязались дазать досрочным выходом на работу в утреннюю смену. Установили дежурство. Выходили по-двое. Таким образом когда вся смена приходит на работу,



ходовая уже готова к пуску. Машина стала работать лишние сорок минут в сутки, что позволило бригаде увеличить пропуск товара.

Через неделю вторая ходовая давала сверх нормы тридцать-тридцать пять кусков ежедневного пропуска. Так пришла победа — через трудности, через поиски возможного.

Сегодня Воробьев сам пошел в ячейку, чтобы поделиться с Кисиним радостью. Хотелось говорить долго, подробно, шумно. И бригадир говорил так... А в конце признался:

— Эту мысль ты подал. Помнишь как-то намекнул ты о том, что третья машина даже не укладывается в сорокаминутный технический простой? Вот я и подумал: а нельзя ли укладываться даже не в сорок минут, а в тридцать... или еще меньше! Подумал, — оказалось можно. А потом и совсем его срезали, простой машины. И работаем! В следующий месяц обязуемся пропустить сверх нормы тысячу двести пятьдесят кусков!

Бровястый секретарь уже мягче смотрел теперь в раскрасневшееся лицо бригадира. Широкое переносье покрылось морщинками. Кисин радовался радостью Воробьева, всех комсомольцев, укомплектованных на второй ходовой машине.

Уходя, Николай долго чего-то мешкал, будто потерял что-то и вспоминает, где потерял. И когда уже толкнул дверь, наконец, решился. Не глядя на Кисина, он сказал:

— Знаешь, Сергей... — и не докончил, поправился: — Заявления разбирали на бюро? — спросил, а какой-то частью догадки был уверен, что не разбирали еще их заявления, потому что его, как бригадира, не вызывали вчера на заседание, хотя это и посулил тогда секретарь. — Разбирали?..

— Нет, — признался Кисин. — Я даже не показал его ребятам. Не захотелось поспешно делать оргвыводы. А еще верил, что вы сами поймете ошибочность своего поступка... Так и вышло!

Воробьев глянул смелее на Кисина, не боясь уже встретиться с его пытливыми глазами.

— Знаешь, Сергей, — повторил он начало незаконченной мысли: — Если можно, дай заявление обратно! Зачем его теперь надо разбирать?..

Они встретились глазами. Оба удовлетворенно улыбнулись. Кисин достал из грудного кармашка потертое заявление с отогнутыми краями и отдал его Воробьеву.

Бригадир пожал секретарю крепко, по-товарищески руку и довольный вышел из комнаты ячейки.

## 9

На показатели социалистического соревнования разные отделы по-разному движутся к выполнению промфинплана. Не отстают и ходовые машины. А среди них вторая комсомольская — впереди. За перевыполнение норм она посажена в трехмоторный самолет на показатели.

— Разве нам угнаться за вами? — говорит Сомов, с первой ходовой, идя по двору с Воробьевым: — Не выполним договора — еще на черную посадят!..

— Ничего! — ободряюще говорит Николай: — Твоя, Сомыч, бригада на-ять! Крепкие старички... Легко не уступите. Знаю!

Сомов польщен таким вниманием и похвалой. Он топорщит седеющие усы и сквозь усмешку говорит:

— Догони вас: на ероплане летите, черти!

— Места хватит, Сомыч, — поместимся.

— Попробуем. Только все-таки не легко пропустить сверх нормы тысячу двести пятьдесят кусков-то!

— Обязались...

Подталкиваемые со всех сторон, они спешат к выходу на улицу.



Союз советских писателей Ивановской промышленной области.

Рейд, № 2. Литературно-художественный сборник.

---

Издательство Ивановской промышленной области. Г. Иваново. Ред. *К. Писарев*. Техред *В. П. Федоров*.  
Бумага 72 × 110/20. Тир. 3 000 + 195 экз. 8<sup>1/2</sup> п. л. 46 256 зн. в п. л. Изд. № 530.

---

Сд. в набор 1 октября 1932 г. Подп. к печати 22 февраля 1933 г.

---

Ивановский обллит № 1560.

---

Тип. Газетно-журнального комбината областного издательства „Рабочий край“. Гор. Иваново.  
Типографская, 4. Зак. № 899.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten initials or a signature in the bottom left corner.





**3 руб. 25 коп.**



